

Как слово наше отзовется?

Васильев К.Б., издательство «Авалонь»
avalon-edit@yandex.ru

Аннотация: Автор статьи, филолог, рассуждает о том, что определённая часть наших высказываний, прозвучавших устно, записанных, напечатанных типографским способом, доходит до слушателей и читателей в неточной форме или в неверном, искажённом, переделанном виде, в том числе с намеренными искажениями, сокращениями или редакторскими добавками. К числу высказываний принадлежат даже некоторые крылатые речения и афоризмы, правильное звучание и написание которых мало кто подвергает сомнению. Обсуждаются некоторые причины, почему происходят текстовые изменения. Автор приводит конкретные примеры переделок и искажений, имеющих место в известных цитатах из русской классики, дополняя их примерами из своего опыта работы в качестве переводчика и редактора.

Ключевые слова: текстология, Тютчев, Маяковский, графомания, марксизм-ленинизм, ошибки сознания, редакторская правка, типографские опечатки, цитирование, проблемы перевода, Герберт Уэллс

1

Рассуждая о том, какое впечатление произведут наши слова, произнесённые или написанные, какое воздействие они окажут, станут ли они побуждением к действию, ожидаемому или неожиданному, будет ли на них отклик и какой именно — отклик немедленный, от непосредственных слушателей, на бытовом уровне или в научных, литературных и политических кругах, или отзыв читателей, отдалённых от нас расстоянием или временем, в том числе очень продолжительным, — думая об этом, лично я всегда вспоминаю Фёдора Ивановича Тютчева с его лирико-философским высказыванием:

Нам не дано предугадать,
Как наше слово отзовется...

Во второй строке, если быть точным, должно быть не *наше слово*, как мы иногда слышим и читаем в тех или иных высказываниях и письменных материалах, а *слово наше*.

Вспоминается — в связи с теми же рассуждениями — и другой поэт, Владимир Маяковский: в 1929 году он *во весь голос* восклицал, обращаясь к потомкам (которые, по его мнению, будут жить при коммунизме):

Слушайте,
товарищи потомки,
агитатора,
горлана-главаря.
Заглуша
поэзии потоки,
я шагну
через лирические томики,
как живой
с живыми говоря.
Я к вам приду
в коммунистическое далекó...

Не исключено, что откликов и отзывов на наше слово не последует — ни от современной публики, ни среди *товарищей потомков*: далеко не всё сказанное и написанное до них доходит, далеко не всё дошедшее их интересует. Возможно следующее: наши мысли, воплощённые в слова, не затеряются в миллионах словесных извержений и водопадов, не утонут в потоках поэзии и прозы, они *дойдут через хребты веков*, в чём был уверен *горлан-главарь* Маяковский: «мой стих громаду лет прорвёт и явится весомо, грубо, зримо»; но, *явившись* будущим поколениям, они, наши слова, будут *не так* понятны — в ином смысле, не в том, который мы в них вложили, их истолкуют превратно, им дадут неточные или неверные объяснения.

При очередном устном пересказе, при очередном переписывании, перепечатывании или переводе на другие языки случаются замены чего-то одного на что-то другое, и можно предположить даже такую радикальную метаморфозу: кто-то размышлял, предположим, с одобрением про Фому и бузину в огороде, а лет через сто в силу целого ряда изменений и переделок будут цитироваться его неодобрительные рассуждения про Ерёму и дядьку в Киеве. Всего лишь из-за описки или опечатки, из-за утери отрицательной частицы или приставки чей-либо положительный отзыв о каком-то предмете приобретает противоположное значение, или некто, считавшийся добрым прославителем, предстанет перед потомками недобрым хулителем.

В 798 году богослов Алкуин, которого, судя по всему, раздражало напрасное затаскивание имени Божьего, в письме к Карлу Великому наставлял его: «Не слушайте тех, кто твердит, будто голос народа — голос Бога...» Но в наши дни сие наставление известно в весьма укороченном виде: *vox populi vox dei*, и все принимают этот усечённый вариант, хотя он не что иное как ложная мудрость, и с удовольствием повторяют *мудрое речение*, поскольку народу льстит близость к богу, а толпам (в том числе дерзко разбушевавшимся) приятно сознавать, что их слитные крики (или громогласный рёв) тождественны изъявлению божественной воли.

Если не заглядывать в далёкое будущее, где, при неизвестно каких жизненных обстоятельствах, материальных условиях и политических воззрениях, будет неизвестно какое восприятие и осмысление прошлых столетий со всеми их писаниями и речениями, если ограничиться озираемым настоящим, мы то и дело становимся свидетелями того, как человек, например, государственный деятель, по определённому

поводу сказал *нет*, но в силу каких-то причин (или недоразумений) в публике, в обществе, среди обывателей возникло, появилось, распространилось и утвердилось мнение, что он говорил или имел в виду *да*. Чьи-то выступления и высказывания тут же, грубо говоря, перевираются в среде тёмного и вполне грамотного народа, выворачиваются наизнанку в слухах, ставятся с ног на голову и извращаются в периодических изданиях разного толка и направления, где для создания превратного мнения бывает достаточно вынести за кавычки несколько авторских слов или включить в кавычки редакторскую отсебятину. Показания очевидцев заносятся небрежно, с ошибками или намеренно искажаются в полицейских протоколах, подсудимые и свидетели что-то недоговаривают или кого-то оговаривают в судебных заседаниях, где велено говорить правду и ничего кроме правды. В особенно жестокие исторические периоды неосторожное слово *отзывалось* непосредственно на том, кто его молвил: по скорому доносу, в коем неосторожность выставлялась как подстрекательство к бунту, человека отправляли в застенки, из застенка в каземат, оттуда в сибирский острог или на плаху.

От метаморфоз, искажающих или коверкающих первоисточник, не свободны и научные публикации (за исключением, наверно, точных наук, где одно неверное использование *знаков*, например, минуса вместо плюса или плюса вместо минуса, приводит к ошибочному результату, который есть возможность исправить при проверке и пересчёте).

Есть особенный вид искажения чужих слов: тот или иной общественный или политический деятель, руководящий работник или популярный исполнитель, выступая перед публикой, говорит с чувством и даже с жаром, но — неграмотно, не по принятым правилам связывая отдельные слова в предложения, он, бывает, начал за здравие, а кончил за упокой, запутавшись и потеряв нить мысли (если мысль вообще была изначально); некоторые из выступающих, питая слабость к пословицам и поговоркам, помнят их не полностью, не точно, в урезанном виде и смешивают с комическим эффектом обрывки разных народных речений. Подобные выступления прямо-таки просятся в пародийную переделку, и переделка не заставляет себя долго ждать, и потом поди разберись, как та или иная речь, *разобранная на цитаты*, звучала в *чистом виде*.

2

По небрежности, по неграмотности, по недомыслию или по каким-либо соображениям, включая политические, в авторские высказывания вносятся изменения и переделки, например, в издательском деле — цензорами, редакторами и корректорами, что-то сокращается при цитировании, что-то дописывается, как мы отметили выше. Случаются намеренные искажения по злему умыслу, когда *твой же слово калечит плут, чтоб уловлять глупцов*, как выразился Редьярд Киплинг в стихотворении «Если». Так мы читаем в переводе Михаила Лозинского; в английском оригинале несколько иначе: негодяи искажают тобой сказанную правду.

<...>The truth you've spoken
Twisted by knaves to make a trap for fools.

Читая, мы, как правило, не задерживаем внимание на каждом слове, мы *скользим взглядом* по написанному, выхватываем ключевые слова, по одному-двум словам догадываемся, каким будет окончание фразы или даже по нескольким словосочетаниям *схватываем* содержание всего параграфа... Имея сейчас перед собой двестише Киплинга, предлагаю к нему приглядеться внимательно. При передаче на русский язык *правда* стала *словом* — не по злому умыслу, конечно, не с целью *подправить* авторское высказывание, но, строго говоря, замена неправомерна. Правда — это то, что соответствует действительности, это истина (привожу определение по «Словарю русского языка», составленного С. И. Ожеговым). А слово — не обязательно правдиво. Слова бывают любые и разные, в том числе незначащие, пустые, легкомысленные, глупые, подлые, оскорбительные, гневные, лживые... По русскому переводу получается, что *плут* извращает всё, что бы вы ни произнесли, как ваши продуманные, взвешенные, обоснованные доводы, так и случайные, нелепые, ошибочные высказывания, включая какую-либо галиматью.

Второе: английское *knave* предполагает человека низкого (в том числе по рождению), в британских и американских словарях приводятся нелестные определения: *an unprincipled, untrustworthy, or dishonest person; an unscrupulous man; a scoundrel*. Киплинг имел в виду *негодяев*, которые выворачивают (намеренно) *сказанную вами правду* (*the truth you have spoken*). Картина с участием плута рисуется иная, можно даже вообразить, что он переиначивает, *калечит* ваши слова для развлечения, чтобы позабавить невзыскательную публику или ввести в заблуждение глупых ротозеев.

По-моему, даже употребление частицы *же* здесь неуместно: *твой же слово калечит плут*... Как я понимаю, она требуется, если, например, чьё-либо высказывание используется против него самого: я привожу им факты, они *мои же слова* перевирают и обращают на меня...

Кто-то скажет, имея свои устоявшиеся представления и особенно непоколебимые принципы, что я сужу слишком строго, что я буквоед, занимаюсь выискиванием блох, придираясь к *хрестоматийному* переводу известного переводчика М. Л. Лозинского (1886-1955). Ведь хорошо звучит, красиво, афористично: *твой же слово калечит плут*... Ведь это много раз печаталось в журналах, книгах, сборниках. Читатель догадывается, не может не догадаться, что здесь *слово* значит, конечно же, честное, искреннее, взвешенное, продуманное высказывание. А плут его калечит! Иных толкований быть не может. Только человек с кривым сознанием станет придирается. Мы наизусть помним эти строки. Это классика!

Про *кривое сознание* — согласен, есть такое явление, но при этом можно усомниться: а есть ли кто среди нас с абсолютно *прямыми*, так сказать, мозгами? Будучи филологом, а не психиатром, я не берусь судить о многочисленных *когнитивных искажениях*, ограничусь следующими личными наблюдениями: трудно отказаться от пересмотра сложившихся представлений о том или ином предмете, о каком-то явлении или человеке, когда представление появилось в нашем сознании, внедрилось в него посредством складных, звонких, красочных, колких, ядовитых,

насмешливых, хлётких — афористичных! — строк. Даже решившись на *ревизию*, мы с нежеланием, мы с сомнением, мы не сразу или не полностью отказываемся от того, что врезалось в память при заучивании *наизусть*.

Современники, знавшие графа М. С. Воронцова (1782-1856), генерал-губернатора Новороссии, не видели в нём торгаша и отнюдь не считали его невеждой, вряд ли у кого-то из современников имелся *оправданный* повод или *обоснованная* причина назвать его подлецом, но я помню по своей учёбе в советской школе, с каким пафосом зачитывалась вслух на уроке литературы, как легко, быстро, без сопротивления запоминалась школярами, как *отзывалась* в сердцах и душах нашего поколения пушкинская *убийственная* эпиграмма на указанного *царского*, следовательно, нехорошего, государственного деятеля:

Полу-милорд, полу-купец,
Полу-мудрец, полу-невежда,
Полу-подлец, но есть надежда,
Что будет полным наконец.

Срамное слово вредно душе... Но душу веселит! Слышим хлёткие поношения или язвительный юмор с уклоном в сатиру, и нас невольно охватывает весёлость. В романе «Бесы» Достоевский хорошо изобразил восторг провинциального общества, которое *увлеклось невиннейше*, слушая речь заезжего профессора, — то ли настоящего, то ли мнимого, но обладающего *маниакальной* способностью заводить толпу; Хроникёр, от имени которого ведётся повествование, признаётся: «я и теперь не знаю в точности, кто он такой... <...> удалившийся добровольно из какого-то заведения после какой-то студенческой истории и захвативший зачем-то в наш город всего только несколько дней назад».

«— Господа! — закричал изо всей силы маньяк <...>. Двадцать лет назад, накануне войны с пол-Европой, Россия стояла идеалом в глазах всех статских и тайных советников. Литература служила в цензуре; в университетах преподавалась шагистика; войско обратилось в балет, а народ платил подати и молчал под кнутом крепостного права. Патриотизм обратился в драньё взяток с живого и с мёртвого. Не бравшие взятку считались бунтовщиками, ибо нарушали гармонию. Берёзовые рощи истреблялись на помощь порядку. Европа трепетала... Но никогда Россия, во всю бестолковую тысячу лет своей жизни, не доходила до такого позора...

Он поднял кулак, восторженно и грозно махая им над головой, и вдруг яростно опустил его вниз, как бы разбивая в прах противника. Неистовый вопль раздался со всех сторон, грянул оглушительный аплодисман. Аплодировала уже чуть не половина залы; увлекались невиннейше: бесчестилась Россия всенародно, публично, и разве можно было не реветь от восторга?»

В моё школьное время, если мы и не ревели от восторга, то с улыбочкой и точно без возражения, не оскорбляясь, выслушивали хлёткие оскорбления Маяковского, например, в адрес Николая II и его дочерей: *дочурки-чурки*, смешно!

И вижу —
Катится ландо,
и в этой вот ланде
сидит
военный молодой
в холёной бороде.
Перед ним,
как чурки,
четыре дочурки.

И Маяковскому не было жаль, и мы не испытывали жалости, читая в его стихотворении «Император» (1928 год), как он ездил смотреть место, где, заметая следы, убийцы избавлялись от тела убитого ими Николая (здесь поэт умалчивает о схожей судьбе его дочерей, *дочурок-чурок*):

Здесь кедр
топором перетроган,
зарубки
под корень коры,
у корня,
под кедром,
дорога,
а в ней —
император зарыт.

В моё школьное и студенческое время ни педагогических светил вкупе с чиновниками-исполнителями в министерстве образования, ни составителей учебников по литературе, утверждённых министерством для просвещения подрастающего поколения, ни нашего учителя-словесника, ни нас, школьников, затем студентов, не коробили оскорбительные выпады великого советского поэта Маяковского в адрес царских *дочурок-чурок* или по поводу женского батальона, оборонявшего Зимний дворец от красногвардейцев: *бочкарёвские дуры!* И все перечисленные товарищи и граждане, взрослые и подрастающие, считали графа Воронцова недостойной личностью, недоучкой и негодяем, как описал его великий поэт А. С. Пушкин.

3

В те же 1960-е годы мне и другим советским школьникам *западали* в память чеканные строки из *хрестоматийной* поэмы Владимира Маяковского, в которой автор напористо утверждал и громогласно настаивал: «Ленин и теперь живее всех живых», «Самый человечный человек», «Мы говорим Ленин — подразумеваем партия»... Куда ни пойдешь, здесь и там маячили, на глаза попадались, в глаза лезли столь же напористые, сомнений не допускающие утверждения того же автора из стихотворения «Комсомольская», начертанные на плакатах, отлитые из бронзы и врезанные в гранит:

Ленин —
жил,
Ленин —
жив,
Ленин —
будет жить.

В коммунистическое правление от человека требовалось принимать к сведению и затверживать бездумно то, что подлежало затверживанию; были созданы канонические жизнеописания (сродни житиям в православии) и портреты (сродни иконам), сформировался сонм советских героев, чьи образы следовало почитать, чьим подвигам подражать. Примеров можно привести великое множество; одним из первых вспоминается *канонический* образ Ф. Э. Дзержинского (1877-1926), каким его рисовали и представляли советским обывателям: *Железный Феликс*, верный ленинец, самоотверженный рыцарь революции... Что там ещё? Ах да, его знаменитая *благородная* заповедь: «Чекистом может быть лишь человек с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками». К образу приложился своей поэтической кистью тот же Маяковский — канона, впрочем, не нарушая: Дзержинский в его поэме «Хорошо» (1927 год) *железен и жилист, в мятой шинели, с острой бородкой*. Мне, советскому школьнику, как и всему советскому юношеству до и после меня, *горлан-главарь* Маяковский, *не задумываясь*, давал совет подражать во всём означенному *железному жилистому* товарищу, и его ничуть не смущало, что Дзержинский возглавлял карательный орган, созданный большевиками для подавления и уничтожения, в том числе без суда, тех, кто против большевиков выступал (или не выступал, но попал под подозрение, например, из-за *непролетарского* происхождения или вследствие прежней работы на высоких постах в каком-либо царском учреждении). Маяковский не смущался при написании, и читатели, в том числе школьники моего поколения, не смущались, кто-то даже с удовольствием заучивал, невольно *подпадая под обаяние* этого словесного, так сказать, *штурма и натиска*.

Юноше,
обдумывающему
житьё,
решающему —
сделать бы жизнь с кого,
скажу
не задумываясь —
Делай её
с товарища
Дзержинского.

В новое время у тех, кто без руководящих подсказок, наставлений и предписаний живёт своим умом, есть возможность высказать вслух и печатно личное

мнение и несогласие, например, о том, граф Воронцов, человек образованный, не был невеждой, пушкинское обвинение в подлости — огульное, продиктованное личной неприязнью; о том, что Ленин, конечно, — революционер до мозга костей, ниспровергатель государственных устоев, боец и борец, ради победы способный на любые, мягко говоря, ухищрения, но он никак не образец человечности: снедаемый отнюдь не человеколюбивыми чувствами и целями, он *со товарищи* совершил государственный переворот, свергнув силой оружия выборное правительство, он, возглавив государство, отдавал приказы безжалостно расправляться с противниками, с недовольными, со всеми, кто *не с ним*, кто ему вредит и мешает: «Пока мы не применим террора — расстрел на месте — к спекулянтам, ничего не выйдет»; «Надо поощрять энергию и массовидность террора против контрреволюционеров»; «Надо действовать вовсю: массовые обыски. Расстрелы за хранение оружия. Массовый вывоз меньшевиков и ненадёжных»; «Провести беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев; сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города»...

Следующий ленинский лозунг особенно впечатляет: «Пусть девяносто процентов русского народа погибнет, лишь бы десять процентов дожили до мировой революции!»

Не дожидаясь, пока меня одёрнут по поводу последней фразы, заметив, что Ленин такого не говорил, я сам признаюсь, что подверстал призыв к *децимации*, видя в нём схожесть по смыслу и тону с предыдущими, не проверив, присутствует ли он в «Полном собрании» ленинских сочинений. Люди (из сегодняшнего поколения), считающие большевистскую революцию величайшей бедой в истории нашей страны (а не величайшим историческим событием, как нас учили в школе и университете), приводят прозвучавшие слова, тоже без проверки, как веское доказательство: Ленин намеренно уничтожал население России! Не обнаружив достоверного первоисточника, я всё же оставляю в своём очерке высказывание, кому бы оно ни принадлежало, дабы на конкретном примере показать: любые слова, сказанные или напечатанные, можно приписать тому, кто их не говорил, и, подогнав под свою точку зрения, под свою жизненную позицию, личные политические (или религиозные) взгляды, использовать их в качестве веского, даже *убийственного* аргумента.

В 1922 году в Берлине вышла книга А. М. Терне (1859-1921) под названием «В царстве Ленина»; в «Предисловии» — в качестве эпиграфа — приводится обсуждаемая реплика, с указанием, что она *из речи В. Ленина*. Да, буквально так и напечатано (без запятой, без восклицательного знака): «Пусть 90% русского народа погибнет лишь бы 10% дожили до мировой революции». Личность Терне, достоверность излагаемых им событий выходят за рамки данного исследования, тем более, что противники Ленина всё равно останутся при своём мнении (не без основания, сравнивая это высказывание с приказами Ленина по ликвидации *контрреволюционеров* после захвата власти и особенно во время Гражданской войны), тогда как почитатели и последователи Владимира Ильича будут настаивать, что вождь мирового пролетариата таких слов не произносил, обвиняя А. М. Терне в вымысле, и своих оппонентов, *оголтелых антикоммунистов*, в подлоге и передёргивании фактов.

Есть мнение, что цифры 90 и 10 переключали в *ленинское* высказывание из речи Г. Е. Зиновьева на 7-й петроградской большевистской конференции в сентябре 1918 года, когда означенный соратник Ленина высказался следующим образом: «Мы должны увлечь за собой девяносто миллионов из ста населяющих Советскую Россию. С остальными нельзя говорить, их надо уничтожить». Знание арифметики позволяет нам легко посчитать: Зиновьев советовал истребить *всего* десять миллионов людей, и можно допустить, что кто-то, действительно, поменял цифры местами и с умыслом выдал изречение за ленинское, дабы *весомее* прозвучало его обвинение большевиков в кровожадности.

Потратить время на то, чтобы извлечь из архивов отчёты Седьмой Петроградской общегородской конференции РКП(б), проходившей 17-21 сентября 1918 года? Прочитать речь Зиновьева, уточнить, есть ли в ней такая фраза, как буквально и по поводу чего выразился председатель Петроградского совета? Автор очерка не имеет желания и не видит в этом смысла; препирательства по поводу одной фразы, накалённые, но ограниченные узким кругом спорщиков, как и более широкая полемика по поводу идеологической, классовой и вооружённой борьбы столетней давности только подтверждают мой тезис о том, что часть огромного количества слов, произнесённых в прошлом, доходит до нас в усечённом, подредактированном, подправленном и переправленном виде, в виде отдельных фраз из длинных речей, и то, что дошло до нас в полном и неискажённом виде от установленного лица, из неоспоримого, лучше скажем, достоверного источника, по разному воспринимается сегодняшним поколением, по разному трактуется и интерпретируется.

Запротоколированные речи Ленина на различных съездах и конференциях, документы, им лично составленные и подписанные, не хранились под спудом. Их переносили из протоколов и отчётов, из современных газет в советские исторические журналы послереволюционного периода, их воспроизвели прилежно в «*Полном собрании сочинений*», не считая нужным, как я понимаю, выпустить или как-то заретушировать призывы вождя к террору; каждый советский человек имел доступ к ленинским трудам, статьям и речам. Далеко не у каждого, однако, хватало времени на чтение Ленина, далеко не каждый, признавая величие Ленина, хотел сидеть над многостраничными трудами вождя; многим не хватало умственных способностей, чтобы понять, осмыслить, *разобраться* в том, что Ленин писал даже в коротких статьях; большинство советских людей просто *верило* в Ленина и его правоту (и доброту), вполне удовлетворяясь не таким уж большим набором цитат, ставших ходячими истинами. Выбранные из тех или иных произведений и речей, цитаты, короткие и незамысловатые, развешивались на видных местах во всех городах и весях в пределах всей страны, эта наглядная агитация убеждала всех в мудрости вождя и давала ответы на все вопросы, начиная с того, что самым главным искусством для нас является кино, и кончая определением коммунистического общества: «Коммунизм — это есть советская власть плюс электрификация всей страны».

Если в советское время, особенно в сталинское правление, во время войны и вплоть до хрущёвской оттепели, лучше сказать, до горбачёвской перестройки, если в те годы какой-нибудь дотошный *буквоед* стал бы цитировать для какого-то круга слушателей по полному собранию ленинских сочинений (о существовании которого

слушатели, конечно, знали, но в руках его не держали) особо *беспощадные* приказы и предписания Ленина, ответная реакция предсказуема: буквоеду не верят; он предлагает сомневающимся лично убедиться: читайте чёрным по белому напечатанное; собеседники читают, кто-то не верит своим глазам, кто-то предполагает, с сомнением, что здесь, возможно, опечатки, третий, верящий фанатично, строго высказывается: шла борьба пролетариата против прогнившего царского режима, потом борьба большевиков против контрреволюционеров всех мастей, Владимир Ильич всё правильно говорил: нужно было *беспощадно* расстреливать врагов, нельзя было церемониться с белогвардейской сволочью, и про спекулянтов с проститутками он тоже правильно сказал: ставить их к стенке... Если бы (например, по доносу) дело дошло до разбирательства в партийных органах, опытный пропагандист из районного или областного комитета партии, ответственный за идеологическую работу и в марксизм-ленинизме *подкованный*, быстро бы внёс ясность: похвально, что такой-то товарищ взялся читать «Полное собрание сочинений», но он неверно понял *живое ленинское слово*, он отнёсся к *гениальному творению ленинской мысли* именно как буквоед, начётчик, который не способен подняться над буквальным истолкованием текста, и начнём с того, что, обсуждая события 1917 года, надо помнить ленинские слова о том, что *революцию не делают в белых перчатках...*

Разное восприятие чьих-то слов в последующих поколениях предсказуемо и неизбежно, но я не берусь утверждать, что преобладает: верное или неверное понимание? Кто-то, имея поверхностное представление о библейских текстах (или вообще не зная их, как было на протяжении веков при почти поголовной неграмотности), уверенно утверждал и утверждает, что в Библии всё ясно, понятно и правдиво! Коммунистические начётчики, знакомые с марксизмом схематически, по «Краткому курсу истории ВКП(б)», безапелляционно заявляли, что учение Маркса всесильно, потому что оно верно. Ленин, один из немногих, кто штудировал труды Карла Маркса и Фридриха Энгельса, выбрал из них то, что совпадало с его личным представлением о классовой борьбе и диктатуре пролетариата.

Кто-то, встретив в том или ином современном романе долгое нанизывание случайных слов, между собой не связанных ни смыслом, ни знаками препинания, называет кучу словесного мусора *потоком сознания, лексическим полем*, и усматривает в нём высшее литературное достижение; другие, читая незамысловатые истории, обнаруживают в них некий скрытый смысл, сакральное значение, им видится *между строк* тайное послание потомкам, которое во что бы то ни стало нужно разгадать, и они первые предлагают то или иное *прочтение*, взятое с потолка, вернее, продиктованное своеобразным устройством серого вещества в черепной коробке.

Перву затянувшиеся рассуждения лирическим отступлением (к основной теме очерка, впрочем, отношение имеющим): вспомним верноподданический стишок Е. А. Придворова (1883-1945), больше известного как Демьян Бедный; он был из тех, кто произведений Маркса или Ленина, конечно, не штудировал, разве что держал их в руках для вида, как делали многие, демонстрируя свою преданность: я — за советскую

власть! Холопствуя перед властями (и втайне их ненавидя), означенный виршеплёт бодро восхвалял *творенья высоких гениев* и провозглашал *живое ленинское слово* — вы только послушайте и вдумайтесь! — *источником вечного добра*.

Высоких гениев творенья
Не для одной живут поры:
Из поколений в поколенья
Они несут свои дары.

Наследье гениев былого —
Источник вечного добра.
Живое ленинское слово
Звучит сегодня, как вчера.

Мой нелестный отзыв о личности и литературных способностях Демьяна Бедного, не отрицаю, предвзятый. Ленин, например, очень его хвалил. Следует вспомнить и выслушать мнение А. В. Луначарского (1875-1933); он — писатель, переводчик, публицист, критик, искусствовед, народный комиссар просвещения РСФСР (с октября 1917 года по сентябрь 1929 года), член Академии наук — по гуманитарному отделению, как историк литературы; один только список перечисленных профессий, должностей и званий убеждает, что Луначарский был человеком более сведущим в литературе, искусстве и культуре, нежели я, и он, будучи всем перечисленным, считал Придворова-Бедного *великим пролетарским поэтом*. Профессиональный знаток литературы Луначарский ставил его на одну доску с Максимом Горьким и, через Горького, даже с *нашими классиками* Марксом и Энгельсом, *имеющими величайшее значение*. Сия высокая оценка прозвучала в речи, произнесённой в 1931 году; по ней, кстати, желающие могут судить и об *изощрении ума* самого академика Луначарского, и также получить представление о его таланте *по линии художественности*:

«У нас есть два великих писателя: Горький и Демьян Бедный, из которых один другому не уступает, из которых Горький идёт в публицистике по линии величайшей популяризации, а по линии художественности поднимается до очень высоких обобщений, которые требуют почти той же степени изощрения ума и т. д., как произведения наших классиков Маркса и Энгельса, которые имеют величайшее значение».

5

В читальном зале Российской национальной библиотеки я поднимаю иногда глаза и смотрю, *вперяюсь взглядом* (почему-то тянет выразиться высоким стилем) в «Полное собрание сочинений» В. И. Ленина, которое выставлено на полке для свободного пользования. Есть издание в сорока пяти, есть в пятидесяти пяти томах. На другой полке монументально покоятся пятьдесят томов, в которые вошли полностью труды Карла Маркса и Фридриха Энгельса; написанные на немецком, они старательно

переводились на русский язык; как филолог, я уверен, что в собрании сочинений двух немецких коммунистов не может не быть переводческих ошибок; как редактор с достаточной практикой, я подозреваю, что в каких-то случаях русский перевод подчищался, что-то, возможно, слегка сокращалось или чуть расширялось, с учётом, быть может, теоретических трудов Ленина и Сталина, учение Маркса *развивших и с успехом применивших его на практике*.

Сравнением немецких подлинников с русскими переводами ни я, и, думаю, никто другой не станет никогда заниматься. В этом нет надобности; это было бы мелочным выискиванием блох в шкуре истлевающего мамонта. От всех мелочей отмахнувшись, в детали не вдаваясь, повторю вопрос, много раз заданный до меня по поводу марксизма в целом: почему идеи двух иностранцев, воплощённые в пространные писания на иностранном языке, касающиеся преимущественно Западной Европы, были приняты с такой верой, с таким жаром и трепетом, с возведением в религию, не где-то, а в России; почему марксизм, как семена, ветром занесённые из чужого края, пророс, пустил корни и, учение, добрых плодов не приносящее, по крайней мере, нашей стране ничего не сулившее, буйно разрослось именно на русской почве?

Как бывший студент филологического факультета и любитель чтения, я думаю, глядя с тоской на два означенных собрания сочинений, отягощающих библиотечную полку сотней, в совокупности, увесистых томов: какое обилие ненужных слов! Сколько скучных произведений, сколько лжемудрых рассуждений, сколько бумаги и типографской краски было потрачено за семьдесят лет коммунистического правления на то, чтобы заставить все полки в книжных магазинах и в библиотеках писаниной трёх чрезвычайно плодовитых, но логическим мышлением не одарённых графоманов; и, главное, всё это нудное *наследие* не просто стояло на полках, оно навязывалось нам коммунистическими властями для чтения, нет, всё это *предписывалось* читать, конспектировать, изучать, усваивать, затверживать... Писания Маркса, Энгельса и Ленин, в этих томах и в отдельных изданиях выпущенные миллионными тиражами, связывались советскими идеологами *непосредственно* со свержением русской монархии и с большевистским переворотом, тогда как события в 1917 года были социальным взрывом, бунтом, выступлением озлившегося народа, который Маркса и Ленина не читал и тем более не изучал, этот бунт, стихийный, а не организованный по наставлениям, изложенным в каких-то книжках, был направлен против существующих порядков и сложившихся обстоятельств, народ *в массе* считал своё обнищание, личные жизненные трудности, общий беспорядок в стране и военные поражения на фронте виною правящих классов и царя; как заметил Герберт Уэллс, бывавший в России до и после Революции: «Не нужно никакой подрывной пропаганды, чтобы взбунтовать их».

Революции происходят *не по писаному*.

А Ленин — он и схожие с ним непоседы, вертуны, неуёмные говоруны, агитаторы, пропагаторы (как называли во времена Достоевского пропагандистов) и провокаторы, возмутители спокойствия и подстрекатели к каким угодно выходкам и преступлениям, лишь бы навредить властям и очернить правительство, на полезный труд не способные, семьями и детьми, как правило, не обременённые, вовсе не пролетарии, замышлявшие *пролетарскую* революцию по книжкам Карла Маркса, при

иных обстоятельствах они так бы и прозябали, неостребованные, по заграницам, агитируя, пропагандируя и провоцируя, они так бы и сидели в тюрьмах, отбывая полученные по суду сроки, но, узнав с удивлением о неожиданном и радикальном повороте событий, а именно о Февральской революции, они оживились и возрадовались, подняли головы, они приписали свержение монархии Карлу Марксу и себе, они, воспользовавшись русской смутой, вылезли из своих заграничных лежбищ и закутков, вышли, освобождённые смутой, на свет божий из своих тюремных камер и, явившись в столичный Петроград, выдвинулись на первый план перед толпами, ждущими, как древние иудеи, нового мессию, который от всех бедствий спасёт и все блага дарует, бесплатно завалит манной небесной, и Ленину быстро удалось набрать достаточно сторонников с помощью привлекательных лозунгов, от которых у любого закружится голова (особенно во время долгой нехватки продуктов и при их дороговизне): власть народу, земля крестьянам, фабрики рабочим! — даже Иисус Христос таких чудес не обещал и не пытался совершить; при этом для убеждения голодных и разгневанных, для уловления наивных, простых и глупых, опять же, не требовалось подводить теоретическую базу, ссылаться на предварительно проштудированный «Манифест коммунистической партии» и потрясать перед толпой ленинской статьёй «Три источника и три составных части марксизма».

Люди уже взбунтовались без всякой *подрывной пропаганды*. Они не получили ни хлеба, ни земли, ни мира после свержения монархии и были готовы бунтовать дальше.

Из тех пяти лет, что я провёл в университете, если не треть, то четверть учебного времени была потрачена впустую, была убита на выслушивание по принуждению, на чтение через силу, на конспектирование без какого-либо желания *классиков марксизма-ленинизма*, на подготовку с неохотой и на сдачу отравляющих жизнь экзаменов по истории КПСС, по марксистско-ленинской философии, по политэкономии, тоже на марксизме-ленинизме замешанной, — в ущерб, за счёт тех знаний, которые филологу-германисту необходимы и обязательны: на занятиях мы совсем не касались Библии, высказывания из которой, ссылки на которую присутствуют у многих и многих английских авторов; история Англии подавалась только по лекциям, основанным, опять же, на марксистско-ленинском учении о смене общественно-экономических формаций и классовой борьбе; остался даже без упоминания целый ряд британских и американских писателей, потому что они считались не прогрессивными или вообще попали в *чёрный список* за какие-либо высказывания против коммунизма и советского строя. В те же годы педагогическое руководство, находившееся в полной зависимости от партийных органов, засоряло марксистско-ленинской схоластикой головы тем, кто готовился к более ответственной работе, чем филологическая, в областях и сферах, куда более нужных обществу, нежели языкознание и литературоведение; отвлекались от основной учёбы будущие врачи, конструкторы, проектировщики и создатели всевозможных машин, механизмов, приборов... Когда-то Николай Некрасов восклицал, обращаясь к современникам и надеясь, что его слова отзовутся в потомках:

Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан!

Возможно, поэт удивился бы (или даже возрадовался), что многие его строки будут с удовольствием повторяться коммунистической пропагандой и приплетаться в доказательство тому, что в царской России царило полное беззаконие, власти творили всё, что им заблагорассудится, из крестьян и рабочих выжимались все соки для безбедной жизни помещиков-тунеядцев и аристократов... И только благодаря Великой Октябрьской социалистической революции народ получил свободу!

Некрасовские слова часто приходили мне на память в связи с просвещением и образованием в Советском Союзе, они просились в такую вот переделку: ты можешь не быть прилежным учеником или студентом, знающим специалистом, добросовестным работником, деловитым руководителем, — плохо, будем журить тебя за это и воспитывать, — а вот в октябрятах, пионерах и комсомольцах ты состоять должен, и быть *настоящим советским человеком*, преданным делу Ленина, ты обязан!

6

Вспоминая студенческое время и глядя в библиотеке на труды занудливых графоманов, провозглашённых титанами мысли и возведённых в классики, созерцая с недобрим чувством их собрания сочинений, я чувствую, как нарастает во мне *активная враждебность* (по выражению Герберта Уэллса в адрес Карла Маркса и марксизма), и мне после Маяковского, Демьяна Бедного и Некрасова вспоминается Грибоедов, точнее Павел Афанасьевич Фамусов из его комедии «Горе от ума». Не знаю, как сейчас, а в моё время его характеризовали в учебнике литературы как *закоренелого крепостника и ретрограда*, и вот я повторяю (мысленно, но с чувством) выпад сего ретрограда против прогресса и просвещения:

Уж коли зло пресечь:
Забрать все книги бы да сжечь.

Нет, не все книги, возражаю я, как любитель чтения, но творения так называемых классиков марксизма-ленинизма точно заслуживают того, чтобы швырнуть их в огонь! Не прилюдно, не на площади, как жгли печатную продукцию германские нацисты, а собрать их по книгохранилищам и отвезти в качестве макулатуры в дальние дачные посёлки и деревни, где ещё остались простые печки, — для отопления домов и приготовления пищи, для иных нужд по хозяйству и в обиходе...

После взволнованных и, следовательно, непродуманных высказываний следует успокоиться и рассуждать здраво, руководствуясь *не сердцем, а разумом*: зло не пресечь уничтожением книг. В книгах пишут о зле и злодеях, но они, книги, не источник человеческих пороков, в них отображаются явления нашего житья-бытья. Зло существовало до того, как появились книги. Оно присутствовало в человеческом обществе до возникновения письменности. При этом зла было столько же, сколько сегодня, и оно проявляло себя в тех же формах, в которых оно проявляется в наши дни

(не будем считать технические способы пыток и насилий чем-то принципиально новым). Уничтожение или запрет тех или иных писаний (зачастую вместе с их создателями) свидетельствует о злобном и непримиримом настроении общества, о взбудораженном состоянии, в котором находится подавляющая часть населения. Это значит, что в обществе преобладают стадные инстинкты, народ удивительно легковерен, он ликует, читая фальшивые сводки о больших производственных успехах своей страны во всех отраслях экономики и на полях сражений, люди обожают новых пастырей, выбившихся из грязи в князи и ставшие *народными* царями-батюшками; короновав новых властителей, *надев лавровые венки на вшивые головы* (пользуюсь высказыванием Ф. М. Достоевского), народ впадает временами в подлинное бешенство после призывов (или даже без агитации) *горланов-главарей* и кидается ловить, бить, громить, линчевать, сжигать — ведьм, иноплеменников, инородцев, иноверцев, инакомыслящих; в существование вражеских диверсантов, шпионов, поджигателей и саботажников верят в верхах и низах (как это было в сталинское время); в том, что необходимы надзирающие и карательные органы и смертная казнь для *врагов народа*, убеждены правители и обыватели, включая безобидных, добродушных, хотя и туповатеньких граждан из той же породы, что старушка, которая принесла хворост и подбросила его в костёр, на котором сжигали Яна Гуса.

Для господ вроде Фамусова общественные пороки и напасти были следствием французских романов и иностранной моды; кстати, в советское время много и, главное, серьёзно говорилось о разлагающем влиянии буржуазного Запада на советскую молодёжь — через иностранные глянцевики журнальчики и модные иностранные *тряпки*, даже через жевательную резинку и *не нашу* музыку.

До появления газет их роль выполняла молва, в народе ходили слухи, земля ими полнилась, и даже при особо жестоких правителях, желавших слышать от своих подданных только восхваления, существовало обсуждение и порой осуждение монарших деяний; *за глаза и про царя говорят*. Властям не удавалось пресечь неодобрительные или насмешливые отзывы в свой адрес и по поводу верховного властителя — вспомним упорство тех, кто даже под пытками называл Петра Первого антихристом. На каждый роток не накинешь платок, как говорили в народе, и на чужой рот пуговицы не нашьёшь; и даже если всем урезать языки и заткнуть рты, рассуждений, суждений и осуждений не уменьшится — они останутся невысказанными в каждой голове. Так что затыкание ртов не устраняет критики, и пусть все высказываются — только говорящим следует учитывать, что кому-то из слушателей твои речи не понравятся; полная свобода слова, по большому счёту, невозможна в обществе, даже если оно состоит из двух человек. Есть любители поговорить, и некоторые говорят подолгу и всё о пустяках; у других — непреодолимая тяга к писательству, называемая *писательским зудом*, от которого, по авторитетному мнению доктора Антона Павловича Чехова, невозможно избавиться: «Писательский зуд неизлечим». Я полностью согласен с Чеховым и воспринимаю серьёзно его шутовское позволение писать *всем без различия*; следующая выписка — из чеховских «Правил для начинающих авторов»:

«Пытаться писать могут все без различия званий, вероисповеданий, возрастов, полов, образовательных цензов и семейных положений. Не запрещается писать даже безумным, любителям сценического искусства и лишённым всех прав».

Но сумасшедшие, и всякие человеконенавистники, и всякие подстрекатели к насилию, и не только подстрекатели, но и насильники — и им позволительно? Они и так пишут, без позволения, кто на бумаге, кто на заборах, тогда как другие, не стесняясь, высказывают устно самые гнусные *идеи* — я уверен, что за свою жизнь каждый сталкивался, пересекался с подобными типами (в которых гнусность, опять же, не происходит от чтения богопротивных, человеконенавистнических, антиправительственных, садистских книжек или бульварных газетёнок). Кто-то говорит, кто-то пишет, от этого факта не уйти; как и в случае со свободой устных высказываний, невозможна полная свобода публиковать всё, что угодно, без последствий и наказания: авторские *откровения* вызовут у каких-то читателей несогласие и возмущение, иные читатели придут в ярость, автора подвергнут осуждению, кто-то подаст на него в суд, возможна и самая плохая развязка, чему мы были свидетелями в последнее время: такого-то украинского писателя, позволившего себе иронизировать над некими *национальными святынями*, убили в Киеве, во Франции в редакцию такого-то сатирического журнала, изображавшего в карикатурах без исключения всё и буквально всех, ворвались вооружённые люди и сотрудников перестреляли *за оскорбление религиозных чувств*.

«Умные люди молчат, а не разговаривают», как написано у Достоевского в романе «Бесы».

Эта фраза, призывающая к мудрому молчанию, приводится в сборниках афоризмов и крылатых изречений, ею можно бы эффектно закончить главу: абсолютную истину изрёк Фёдор Михайлович, знаток души человеческой! Но, поскольку мы с самого начала сомневаемся в соответствии того, что было сказано, с тем, что дошло до нашего слуха и особенно до нашего сознания, отыщем в «Бесах» то место, откуда сия сентенция *вырвана*.

В разговоре с капитаном Лебядкиным, сумасбродным типом, пьяницей, наглецом и одновременно трусом, лжецом, болтуном, хитрецом и одновременно *дуралеем*, Николай Ставрогин выясняет, не послал ли Лебядкин донос на местных *революционеров*, не сболтнул ли кому...

«— Говорите правду, я кое- что слышал.

— В пьяном виде Липутину. Липутин изменник. Я открыл ему сердце, — прошептал бедный капитан.

— Сердце сердцем, но не надо же быть и дуралеем. Если у вас была мысль, то держали бы про себя; нынче умные люди молчат, а не разговаривают».

Совет *держатъ мысль при себе* относится к означенному дуралею, способному в пьяном виде и соврать и разболтать любой секрет; наречие *нынче* ограничивает применение афоризма временными границами: в данное время, в этой обстановке, при нынешних обстоятельствах умные люди держат язык за зубами, и таким образом означенную фразу из романа нельзя возводить в незыблемую вселенскую истину.

Мне следует внятно проговорить своё мнение, оставшееся не вполне высказанным из-за возникших *побочных рассуждений*, — мнение по поводу сочинений

Карла Маркса, Фридриха Энгельса и В. И. Ленина: пусть они так и стоят на библиотечных полках и продаются в магазинах; пусть их покупают, читают, изучают, конспектируют — те, кто хочет, кто видит в этом необходимость по каким-либо личным соображениям. Я возражаю только против того, чтобы одни люди навязывали другим любые книги в качестве обязательного чтения, чтобы чьи-то идеи провозглашались единственно верными и тоже обязательными для затверживания.

7

В статье «Россия во мгле» меня привлекают те строки, где фантаст Герберт Уэллс высказывается о фантазиях Карла Маркса, сравнивая *бессмысленное изобилие* всего, Марксом написанного, с густой, обильной и столь же бесполезной растительностью на его лице. По-моему, удачное сравнение... Я долго подбирал слова и фразы, пытаюсь выразить своё студенческое и читательское отношение к трудам немецкого мыслителя, я переписывал несколько раз то, что получилось, но мне никак не удавалось перевести мысль, мне самому понятную, в слова, точно её выражающие. «Мысль изречённая есть ложь!» — и это утверждение Фёдора Ивановича Тютчева всегда вспоминается мне, когда идёт обсуждение, что такое человеческое мышление, и что такое человеческая речь.

Уэллс нашёл определения, которые хотел бы, но не смог найти я (в подлиннике, мне кажется, они красочнее, нежели в переводе): *скучнейшая личность* (a Bore of the extremest sort), *нагромождение утомительных фолиантов* (a cadence of wearisome volumes), *нудные рассуждения* (tedious discussions) *нереальные понятия* (phantom unrealities)... И фраза, кратко венчающая всё литературное наследие Карла Маркса: «Апофеоз претенциозного педантизма (a monument of pretentious pedantry)!»

Английский литератор пишет (с юмором, от которого Уэллсу и многим литераторам не избавиться даже при освещении таких трагических событий, какие имели место в России):

«Я буду говорить о Марксе без лицемерного почтения. Я всегда считал его скучнейшей личностью. Его обширный незаконченный труд «Капитал», это нагромождение утомительных фолиантов, в которых он, трактуя о таких нереальных понятиях, как *буржуазия* и *пролетариат*, постоянно уходит от основной темы и пускается в нудные побочные рассуждения, кажется мне апофеозом претенциозного педантизма. Но до моей последней поездки в Россию я не испытывал активной враждебности к Марксу. Я просто избегал читать его труды и, встречая марксистов, быстро отделялся от них, спрашивая: Из кого же состоит пролетариат? — Никто не мог мне ответить: этого не знает ни один марксист».

Под *последней поездкой* английский писатель имеет в виду второй приезд в Россию, в 1920 году, когда он обнаружил повсюду портреты и статуи Маркса.

«Должен признаться, что в России моё пассивное неприятие Маркса перешло в весьма активную враждебность. Куда бы мы ни приходили, повсюду нам бросались в глаза портреты, бюсты и статуи Маркса. Около двух третей лица Маркса покрывает борода — широкая, торжественная, густая, скучная борода, которая, вероятно, причиняла своему хозяину много неудобств в повседневной жизни. Такая борода не

вырастает сама собой; её холят, лелеют и патриархально возносят над миром. Своим бессмысленным изобилием она чрезвычайно похожа на «Капитал»; и то человеческое, что остаётся от лица, смотрит поверх неё совиным взглядом, словно желая знать, какое впечатление эта растительность производит на мир. Вездесущее изображение этой бороды раздражало меня всё больше и больше. Мне неудержимо захотелось обрить Карла Маркса. Когда-нибудь, в свободное время, я вооружусь против «Капитала» бритвой и ножницами и напишу «Обритие бороды Карла Маркса».

Согласившись с тем, что всё, написанное Марксом, — нагромождение нудных рассуждений и утомительных фолиантов, я соглашаюсь и с мнением Герберта Уэллса, что, даже если бы Маркса не было, в обществе существовали бы (и существуют) люди с *марксистским* мышлением: «There would have been Marxists if Marx had never lived».

С Карлом Марксом, на мой взгляд, всё понятно, и я уже высказал своё отношение к литераторам и своё понимание литературы: каких-то людей тянет непреодолимо к перу и бумаге, их охватывает *писательский зуд*, который, мы согласились, неизлечим; они, графоманы, пусть и дальше *пописывают*, а читатели, кто хочет, пусть *почитывает*... Другое дело — поступки: покушения на государственных деятелей, убийство того или иного высокопоставленного чиновника или представителя аристократии, ограбление банков *на нужды революции*, вооружённое восстание в 1905 году, насильственный захват власти в октябре 1917 года, уничтожение недовольных большевистским правлением, расстрел царской семьи — всё это не связано с марксизмом, с идеями, высказанными в Германии одним из многих мыслителей; за перечисленные преступные деяния нужно спрашивать не с Маркса, а с *марксистов*, точнее, с тех, кто называл себя марксистами в тот период, к ответу хотелось бы призвать тех, кто совершал то или иное преступление...

Читаем дальше «Россию во мгле»; я бы перевёл название как «Россия во мраке»:

«Маркс для марксистов — лишь знамя и символ веры, и мы сейчас имеем дело не с Марксом, а с марксистами. Мало кто из них прочитал весь «Капитал». Марксисты — такие же люди, как и все, и должен признаться, что по своей натуре и жизненному опыту я расположен питать к ним самую тёплую симпатию. Они считают Маркса своим пророком, потому что знают, что Маркс писал о классовой войне, непримиримой войне эксплуатируемых против эксплуататоров, что он предсказал торжество эксплуатируемых, всемирную диктатуру вождей освобождённых рабочих (диктатуру пролетариата) и венчающий её коммунистический золотой век. Во всем мире это учение и пророчество с исключительной силой захватывает молодых людей, в особенности энергичных и впечатлительных, которые не смогли получить достаточного образования, не имеют средств и обречены нашей экономической системой на безнадёжное наёмное рабство. <...> Они сознают, что их унижают и приносят в жертву, и поэтому стремятся разрушить этот строй и освободиться от его тисков. Не нужно никакой подрывной пропаганды, чтобы взбунтовать их; пороки общественного строя, который лишает их образования и превращает в рабов, сами порождают коммунистическое движение всюду, где растут заводы и фабрики. Марксисты появились бы даже, если бы Маркса не было вовсе».

Как раз с этим я не могу согласиться: что марксисты такие же люди, как все. По крайней мере, те русские марксисты, которые занимались *индивидуальным террором*,

то есть убийствами, и которые силой оружия захватили власть в октябре 1917 года. Уэллс питал к ним *тёплую симпатию* (the very warmest sympathy)... Я бы перевёл английское *sympathy* как *сочувствие* или *расположение*: английский писатель *горячо сочувствовал* марксистам; так или иначе, он высказал свои симпатии в 1920 году, когда в России — разруха, когда население сократилось (вспомним *арифметику* Зиновьева), понятно, что не на девяносто, но на десять процентов, это уж точно. Прежнее правление было несправедливым? Да, кто-то жил во дворце, кто-то в хижине, одни заседали в бесчисленных учреждениях, благоденствуя за государственный счёт, другие наживали деньги, третьи стояли весь день у станка на заводе или подметали мусор на улицах; таково устройство любого человеческого общества во все времена, и в наши дни, оглядываясь вокруг, мы видим, что кто-то проживает в дорогом особняке, кто-то ютится в одной комнате (в одиночку или целой семьёй), и всё так же требуются дворники, чтобы убирать мусор во дворах и на улицах, и всё также частные лица, как и государственные предприятия, эксплуатируют наёмных рабочих на стройках, фабриках и во всех отраслях экономики; и кого-то по-прежнему унижают, и кого-то *приносят в жертву*... Рассудительный человек, каким представляется нам Герберт Уэллс, не мог не заметить, что в 1920 году в Советской России всё население, не только *энергичные и сообразительные*, попало в рабскую зависимость от коммунистических властей, в тиски диктатуры, для всеобщего обмана названной *пролетарской*. Герберт Уэллс не верит в золотой век, в Светлое коммунистическое будущее; тогда можно задать ему, всё-таки призывавшему к сотрудничеству с большевистским правительством, простой вопрос: ради чего в России затеялась революция и велась кровопролитная гражданская война? Для того, чтобы в кабинетах и креслах смещённых бюрократов воцарились новые? Если взять за мерило не происхождение и социальное положение, не уровень образования, не занимаемую должность и зарплату, а человеческую жизнь, получается, что до 1917 года в стране был несправедливый уклад жизни, но никто не имел права преследовать других по классовому признаку, и люди назывались преступниками после того, как в суде будет доказана их виновность; после 1917 года стало нормой усматривать классовых врагов во всех, кто *не с нами*, кто не за большевиков, и к 1920 году, когда приехал Уэллс, в стране было лишено жизни очень много людей, из них далеко не все *буржуи, эксплуататоры и контрреволюционеры*.

С неожиданной теплотой — для меня неожиданной — английский литератор отзывается о С. С. Зорине (1890-1937):

«Это очень симпатичный, остроумный молодой человек, вернувшийся из Америки, где он был чернорабочим. Зорин — хороший оратор и пользуется большой популярностью в Петроградском Совете. Мы вспоминали прошлое, и он рассказал мне, что до сих пор не может забыть о грубости и жестокости, с которыми он столкнулся в Америке в большом мануфактурном магазине, куда пришёл наниматься упаковщиком. Мы говорили с ним о том, как наш общественный строй изматывает, калечит, ожесточает честных и полных энергии людей. Это общее негодование сблизило нас, как братьев».

По поводу жестокости, которую, по зачитанному отрывку, испытал на себе Зорин в американском магазине, требуется уточнение: во-первых, в подлиннике написано, что при обращении за работой Зорин столкнулся с жестокой (буквально,

зверской) невежливостью (*brutal incivility*). Попросту говоря, он пришёл устраиваться упаковщиком в магазин, и с ним весьма невежливо разговаривали, тогда как по переводу домысливается что угодно, вплоть до пинков и рукоприкладства. По-моему, только человек с чрезмерным самолюбием и особенно злопамятный *до сих пор не может забыть* невежливое обхождение (возможно, подогревая в себе мстительное желание наказать всех *буржуев*). Крайняя неучтивость (*incivility*), проще говоря, грубость, резкость и ругань — распространённый способ общения некоторых начальников с подчинёнными в любой стране, в любую эпоху и при любом правлении, особенно если в подчинении у начальника неквалифицированные (при этом не обязательно понятливые, трудолюбивые и честные) чернорабочие, грузчики, землекопы, упаковщики; некоторые руководящие лица не церемонятся в выражениях, отчитывая вполне квалифицированных работников... Общественный уклад и в советское время, при *самом справедливом строе*, изматывал и калечил *честных и полных энергии* людей, особенно в деревне, где крестьяне, оставшиеся после высылки кулаков, были согнаны в колхозы и попали (пользуюсь выражением Уэллса) в *безнадёжное наёмное рабство*, сравнимое с крепостной зависимостью.

Герберт Уэллс *братается* с Зориным, человеком, который в 1918 году возглавлял Революционный трибунал в Петрограде (в оригинале между ними возникло *the freemasonry of a common indignation*, что, согласимся, трудно перевести, но идея *братства* присутствует и в оригинале). Ему ли, Зорину, председателю трибунала, жаловаться на невежливое отношение к своей персоне *чернорабочего* со стороны владельцев или распорядителей в каком-то американском магазине, торгующем тканями и галантереей (*dry goods store*)? И был ли он чернорабочим? Кто-то утверждает, что Зорин (он же Александр Гомберг) шесть лет работал в газете «Новый мир», тогда как А. И. Солженицын в своей книге «Двести лет вместе» называет его маляром: «Тут и группа, которую потянул за собой Троцкий из Нью-Йорка на высокие посты: ювелир Г. Мельничанский, бухгалтер Фриман, наборщик А. Минкин-Менсон (вскоре возглавили советские профсоюзы, «Правду», экспедицию ассигнаций и ценных бумаг), маляр Гомберг-Зорин (председатель петроградского ревтрибунала)».

Похоже, никому не известно подлинное имя и отчество *Семёна Семеновича Зорина*, как и настоящее поле его деятельности в Соединённых Штатах; может быть, Зорин-Гомберг, называя себя чернорабочим, просто выставил себя *пролетарием* перед Гербертом Уэллсом?

Он, Зорин, шесть лет пробыл в Америке (может быть, и дольше, эмигрировав туда, как пишут в некоторых источниках, ещё в 1906 году), он вернулся из *жестокой и невежливой* Америки целым, живым и невредимым в Россию (в компании с Троцким); далеко не все, попавшие под подозрение и арестованные в Петрограде в 1918 году, вернулись в свои дома к своим семьям после разбирательств в *революционных* чрезвычайных комиссиях и трибуналах.

Уже не первый раз я ссылаюсь на некие источники, не уточняя авторство, место и время издания... А что можно *уточнить*, когда в разных источниках всё равно высказываются только *предположения* и *догадки*: на какие деньги существовали Троцкий со товарищи в Америке, кто оплатил их возвращение в Россию, кто из революционеров сотрудничал или не сотрудничал с русской полицией или какими-

либо иностранными разведками; точно так я воздерживаюсь от повторения цифр, приводимых разными историками, архивистами (и, по большей части, любителями чего-нибудь написать про русскую революцию), цифр о количестве убитых и умерших во время и после Революции вплоть до 1920 года — и в этой области предположения, предвзятые подсчёты в зависимости от любви или ненависти к Ленину и большевикам: то ли тысячи погибли, то ли десятки тысяч или сотни тысяч, или действительно, десятая часть населения, с которой не желал разговаривать товарищ Зиновьев?

Кстати, Герберт Уэллс не обходит молчанием деятельность большевистских охранников законности и правопорядка:

«Красный террор повинен во многих ужасных жестокостях; его проводили по большей части ограниченные люди, ослеплённые классовою ненавистью и страхом перед контрреволюцией, но эти фанатики по крайней мере были честны. За отдельными исключениями, расстрелы ЧК вызывались определёнными причинами и преследовали определённые цели».

Весьма обтекаемые формулировки, согласитесь: *по большей части, отдельные исключения, определённые причины...* Но вдумаясь в то, что сказал сейчас уважаемый английский литератор: *ужасные жестокости* проводились пусть фанатиками, но людьми честными!

Спекуляция, которая, если разбираться, неизбежно возникает в смутные времена, рассматривалась большевиками не как следствие, а как одна из причин того, что в стране не хватает продуктов, и, по свидетельству Уэллса, расстрел спекулянтов не принадлежал к *отдельным исключениям*, но подпадал под *определённые причины*. Уэллс и не оправдывает, но и не осуждает карательные меры:

«С пойманным спекулянтом, с настоящим спекулянтом, ведущим дело в мало-мальски значительном масштабе, разговор короткий — его расстреливают. Самая обычная торговля сурово наказывается. Всякая торговля сейчас называется *спекуляцией* и считается незаконной».

Как определить, кто *настоящий* спекулянт? Особенно когда *всякая торговля* считается спекуляцией...

Будучи в гостях у Максима Горького англичанин «внимательно прислушивался к тому, как Бакаев обсуждал с Шаляпиным каверзный вопрос — существует ли вообще в России пролетариат, отличный от крестьянства. Бакаев — глава петроградской Чрезвычайной Комиссии диктатуры пролетариата, поэтому я не без интереса следил за некоторыми тонкостями этого спора».

Картина чуть ли не идиллическая: два мужа, философски настроенных, умно и тонко обсуждают вопрос, который, с подачи английского писателя, при диспуте присутствующем, представляется важным и животрепещущим: есть ли, в конце концов, в России настоящий пролетариат? Как будто и не важно, что в стране разгул бандитизма, в советских государственных органах взятки и казнокрадство, и то, что И. П. Бакаев (родом из крестьян, неоднократно судимый, образования ни юридического, ни, возможно, вообще какого-либо, не имеющий) возглавляет *правоохранительную* организацию, тоже как будто не имеет особого значения; Бакаев с подачи Уэллса — явно не из тех *ограниченных людей, ослеплённые классовою ненавистью*, он и в своей *чрезвычайке*, наверно, обсуждает с арестованными в *тонкостях* схожие теоретические

каверзные вопросы, по-доброму уговаривая узников признать правоту большевистского дела...

Повторяю: идеи, включая марксизм с его призывами к государственному перевороту для установления одномастной, однопартийной *пролетарской* диктатуры, никого не убивают. Марксизм, как мы согласились с Уэллсом, даже и не потребовался в качестве *подрывной пропаганды*, когда положение в России ухудшалось, и она приближалась к социальному взрыву. Преступления совершаются людьми, и, к сожалению, нет такого беспристрастного суда, который не стал бы делать различия между грабителем, отбирающим под угрозой расправы чужое добро ради собственной наживы, и грабителем, передающим деньги из ограбленных банков в *общак*, обеспечивающий жильём и кормом неких борцов за свободу, равенство и братство; при беспристрастном судопроизводстве преступник, убивший кого-то ради своего обогащения, из мести, по найму, вследствие врождённой потребности мучить и душить себе подобных, оправлялся бы на виселицу рука об руку с *честными фанатиками*, которые творили *ужасные жестокости* ради *Светлого будущего*.

8

Даже не имея обширных теоретических трудов, В. И. Ленин и так бы привлёк к себе народные массы в 1917 году — устным словом, которое сразу отзывалось в сознании народа: было приятно слышать, что наступит мир, всех обеспечат хлебом, нарежут бесплатно земельных участков... В тяжёлые времена народу особенно необходима вера в некую высшую спасительную силу, в бога, но, поскольку в 1917 году в России богопочитание отменили, над христианским вероучением посмеявшись, христианские иконы заплевав, вера перенаправилась на смелого, деятельного *народного* вождя, поклонение которому сопоставимо с богопочитанием: у древних иудеев был *моисей-водитель*, обещавший привести своё стадо в землю, где *течёт молоко и мёд*, схожие несбыточные сказки рассказывал народу марксист, материалист и атеист Ульянов: поля и пастбища отдадут крестьянам, фабрики станут собственностью рабочих, управлять страной будет сам народ, без царей и князей, осуществится, наконец, *вековая мечта* о свободе и братстве, и в народных умах дорисовывались свои представления о коммунизме, построив который (каким-то не очень понятным образом), можно будет лежать на печи и есть калачи, раздаваемые в магазинах бесплатно, как и все остальные продукты и вещи, ибо в земле обетованной, то есть в коммунистическом обществе, всё будет по принципу: от каждого по способностям, и каждому по потребностям, так что, пожалуй, и работать не надо будет!

Дожив вместе с моим поколением, понятно, что не до молочных рек в кисельных берегах и не до бесплатной раздачи калачей *по потребностям*, но хотя бы до возможности читать по своему усмотрению какие угодно произведения и не твердить, как попугай, что единственно верным учением на земле является марксизм, дожив до наших дней с непонятно каким строем и какой общественно-экономической формацией, я чувствую, что память осталась замусоренной коммунистическими штампованными лозунгами, пионерскими речёвками и песнями, в том числе про то, что *близится эра светлых годов*, призывами вроде того, который красовался на стене в

каждой библиотеке: «Любите книгу — источник знаний». Это назидание в канцелярском стиле тоже было частью коммунистической культуры и пропаганды; оно могло исходить от заслуженного (пусть занудливого и ограниченного) деятеля педагогических наук, его, в принципе, мог породить и рядовой педагогический (и даже не педагогический) работник, но подпись Максима Горького, *великого пролетарского писателя*, под означенным набором слов превращала банальную фразу в афористическое, *крылатое* выражение, и его тиражировали по указанию министерства культуры вкупе с министерством образования с понятной целью — для повышения культурного и образовательного уровня советских людей, для их идейного и нравственного воспитания!

Поинтересовавшись (вскользь, по ходу дела), я обнаружил, что и сегодня означенный *афоризм* в ходу, и нынешние школьники пишут, среди прочих, сочинение на тему: «Любите книгу — источник знаний, только знание может сделать вас сильным, честным, разумным человеком» (М. Горький). В усечённом виде фраза воспринималась безразлично как обязательное оформление библиотечного помещения, наряду с напоминаниями, чтобы посетители не курили, не сорили и соблюдали тишину, с табличками, указывающими, где читальный зал, где абонемент, где вход строго запрещён, где раздевалка и туалеты, но, воспроизведённая в полном виде и предлагаемая для школьного обучения, сия сентенция наталкивает на следующие размышления: *сочинения* учеников, поданные учителю в конце урока или экзамена, будут набором казённых, ходульных фраз, переписанных из учебника литературы, скопированных из *готовых* шаблонов, предлагаемых многими услужливыми издателями, ничего иного нельзя ожидать от мальчиков и девочек, чьи головы заняты какими угодно мыслями, рассуждениями и мечтаниями, кроме тех, которые требуют от них педагоги в сочинениях на указанную и многие другие *умные* темы.

Если рассуждать по-простому и, как говорится, *по-честному*, высказывание Максима Горького, причисленное к мудрым речениям, выдаёт недалёкий ум означенного литератора. Знание не может сделать и не делает человека сильным, ибо это не гири с гантелями. Разум закладывается природой, его не приобрести через накопление знаний; разумные суждения (и поступки) встречаются в любой человеческой среде, во всех слоях населения, в том числе среди людей неграмотных; на протяжении веков и бóльшую часть своей истории народ за исключением небольшой образованной прослойки существовал без умения читать и писать, из чего не следует, будто разум был неизвестным или очень редким явлением. И, наконец, честность: если разум ещё можно с натяжкой связать напрямую со знанием, то получение большого или даже огромного количества сведений из учебников и от квалифицированных преподавателей не сделает учащихся и слушателей честными; людей, с рождения наделённых хитростью и способностью лгать, не превратить в честных членов общества, прописав им усиленное чтение книг; обманщики, лжецы и мошенники равнодушно пропускают мимо ушей моральные увещания: не лги, не лжесвидетельствуй! — или изображают с присущим им артистизмом внимание и раскаяние; на них не воздействуют даже периодические отсидки в тюрьме; за примерами проще обратиться к окружающей действительности, нежели искать их по классической литературе: то и дело мы слышим о мошенничестве, казнокрадстве,

взятках и обманах, совершённых гражданами, получившими более чем достаточный запас знаний в школе и в каком-либо высшем учебном заведении.

Дотошный критик укажет мне, что следует проверять точность цитат, на самом деле Максим Горький высказался более пространно и глубокомысленно, и говорил он о *духовной* силе, так что автор очерка зря язвит про гири с гантелями... Что ж, прислушиваясь к критике, зачитаю страстный призыв любить книгу не в том виде, в каком его используют в школьном обучении, а как он прозвучал в статье Горького «Как я учился», напечатанной в 1918 году одновременно в газетах «Новая жизнь» и «Книга и жизнь»:

«Любите книгу — источник знания, только знание спасительно, только оно может сделать вас духовно сильными, честными, разумными людьми, которые способны искренне любить человека, уважать его труд и сердечно любоваться плодами его непрерывного великого труда».

Действительно, идёт речь не о физической силе, как можно подумать, встретив укороченный вариант высказывания, Горький пишет о духовности! Тут бы и умилиться, узнав, что автор нашёл *спасительное* средство для обретения духовных сил, но умиляться не буду и не стану отказываться от уже сказанного мной по поводу обсуждаемого *мудрого* поучения, которое, на мой взгляд, представляет из себя галиматью, с умным видом изречённую; как и честность, так и искренняя любовь, уважение к труду, сердечное любование плодами великого труда не проистекают от знаний, приобретённых в учебных заведениях, почерпнутых из учебников и пособий. Перечисленные добродетели невозможно взрастить, как выращиваются овощи на огороде: посадим добрые семена, будем своевременно поливать, вносить удобрения, окучивать, защищать от паразитов. Не было случая в истории, чтобы в какой-то местности или в какой-то период времени какое-либо общество пришло бы к поголовной честности и всеобщей духовности через обязательное образование и с помощью многочисленных плакатов и иной печатной продукции, пропагандирующей трезвую жизнь, патриотизм, разум, трудолюбие, ненависть к врагам и любовь к родине.

Почему бы сразу и без увёрток не процитировать высказывание Горького в полном виде по первоисточнику? Я намеренно привёл усечённые варианты как доказательство выше прозвучавшего утверждения, что любые слова, в том числе сентенции литературного классика, каким считается Максим Горький, могут и зачастую доходят до публики в усечённом и искажённом виде. Вплоть до превращения духовной силы в физическую.

И на этом можно поставить точку. Задав вопрос, автор очерка, не впадая в переливание из пустого в порожнее, дал на него ответ. Считая при этом, что это ответ убедительный, однозначный, и в дальнейшей полемике нет необходимости. Полемика позволяет всем участвующим высказать свои мнения, это хорошо, что каждый, так сказать, выпускает накопившийся в его сознании пар, но в спорах и прениях не рождается какая-либо истина. Архимед в третьем веке до нашей эры, не вступая в пререкания и не выслушивая мнения других учёных, вывел геометрические формулы, правильность которой любой желающий может проверить; он же, Архимед, открыл закон о выталкивающей силе, действующей на тело, в жидкость погружённое; а вот диспуты на отвлечённые темы, скажем, по поводу той же истины, идущие с древних

времен по сей день, не привели к единственному пониманию и точному её определению.

9

Точка поставлена, но руки снова тянутся к перу, перо к бумаге, как сказал уже упомянутый нами поэт Пушкин. Графоман, передохнув, возвращается к своему любимому занятию...

Это автор очерка о ком, опять о Карле Марксе и В. И. Ленине? Нет, автор говорит о себе.

Не следует усматривать в моих словах наигранное самоуничижение, будто я рисуюсь, позирую; будучи филологом, я рассуждаю филологически: слово *графоман* не содержит оскорбительного оттенка, в отличие, скажем, от *плута* или *подлеца*. Оно просто сообщает об увлечении того или иного человека писательством, сочинительством, без уточнения, плохо или хорошо тот пишет, с грамматическими ошибками или без ошибок, скучно или бойко, литературным или канцелярским слогом... Кто-то увлекается музыкой, мы называем его, вовсе не намереваясь оскорбить, меломаном. Кто-то предпочитает не обычную, а изысканную пищу, он не обидится, узнав, что мы считаем его гурманом. Балетоман сам не танцует, он страстно любит балет, он заядлый посетитель балетных представлений. Граф М. С. Воронцов, кстати, был англоманом; посмотрим по Малому академическому словарю значение этого слова: «Англоман — тот, кто имеет пристрастие ко всему английскому».

Перечисленные слова, содержащие корень *μανία* (страсть, влечение), указывают на увлечение чем-либо, на особенный интерес, пристрастие к чему-либо.

Не полагаясь только на память и собственные рассуждения, я имею привычку сверяться с толковыми словарями, и сейчас я обратился для уточнения к хорошо известному «Словарю русского языка», составленного С. И. Ожеговым (к изданию 1968 года). Всё верно, Сергей Иванович объясняет, что меломан — страстный любитель пения и музыки; гурман — любитель и ценитель изысканной пищи; наркоман — человек, страдающий наркоманией, то есть сильным, болезненным влечением к наркотикам... Обнаружилось, что мои филологические рассуждения по поводу *графомана* не совпадают с авторитетным объяснением более известного филолога Ожегова: «Графоман — тот, кто страдает графоманией». Я говорил о склонности, об увлечении, Ожегов пишет о страдании... *Графомания* приводится в «Словаре» с пометой *неодобр.* И объясняется как болезненное пристрастие к сочинительству. Схожее толкование мы находим и в «Малом академическом словаре»: «Графомания — болезненное пристрастие к писанию, сочинительству».

Из прочитанного можно сделать вывод: графоманы схожи с наркоманами — поскольку и те и другие страдают, первые графоманией, вторые наркоманией, они одержимы *болезненным* пристрастием. Они, таким образом, попадают в один разряд с клептоманами, страдающими *психическим заболеванием, выражающимся в склонности к воровству*, и с эротоманами, имеющими *болезненно-повышенную половую возбудимость*. В отличие от англоманов, балетоманов, гурманов, чьи увлечения страстные, но не болезненные!

Задумавшись над толкованиями в «Словаре» С. И. Ожегова, я заглянул для сравнения в другие источники и обнаружил, например, что эротоману свойственна *бредовая убеждённость*, будто он любим кем-то, ему присуще *патологически повышенное половое влечение*. Любопытно — чисто с филологической точки зрения, что в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона эротоманию объясняли как *любовное помешательство — один из видов так называемого первичного сумасшествия или паранойи*. А что тогда уважаемые энциклопедисты позапрошлого века говорили по поводу графомании? При сем слове объяснений не даётся, но имеется короткая и красноречивая отсылка к статье *Душевные болезни*.

Пожалуй, я погорячился или, точнее, проявил легкомыслие, добровольно причислив себя к графоманам! Правда, лично я не чувствую, что моё желание писать очерки и рассказы — *болезненное пристрастие*. Или, может, я ошибаюсь, считая себя нормальным, умственно здоровым? Как говорится, со стороны виднее, и окружающие, может быть, усматривают в моём писательстве признаки *душевной болезни и первичного сумасшествия...*

Меня, как филолога, смущает вот что: сталкиваясь с употреблением слова *графоман* в устной речи, встречая его в современных художественных произведениях, я вижу, что, называя так какого-либо литератора, говорящий вовсе не уличает его в умственных и душевных отклонениях от нормы. Критик не имеет в виду, что у литератора, ему не понравившегося, *болезненное пристрастие* к писательству. Критик называет или, если хотите, обзывает графоманами тех, кто пишет много, но не написал ничего стоящего, ничего такого, что можно назвать настоящей литературой. *Графоман* — оскорбление, пренебрежительный отзыв: такой-то господин — бумагомаратель, писателишка, писака, шелкопёр, борзописец, пачкун, стихоплёт... Это оскорбление, конечно, из разряда субъективных оценок. Автора, причисленного вами к графоманам, кто-то другой любит, читает и даже считает великим прозаиком или поэтом, как мы имели возможность убедиться, ознакомившись с высокой оценкой, полученной Демьяном Бедным от наркома просвещения Луначарского. Есть случаи, когда пренебрежительное отношение к чужому творчеству вызвано завистью: такого-то *графомана* издают и печатают, его книжки — макулатура, но они бойко продаются, а мои талантливые рукописи не принимает ни одна редакция!

К теме нашего очерка только что сказанное относится следующим образом: кто-то использует в своей речи какое-то слово, пусть это будет *графоман*, вкладывая в него свой смысл, но у слушателей может быть иное понимание. Бывает, что для уточнения и сверки значений, мы, обратившись к известным справочникам и признанным авторитетам, не обнаруживаем одинакового толкования, не находим точного и единственно верного объяснения. По поводу прозвучавших слов с корнем *μανία* (страсть, влечение): у меня остаётся ощущение, что лучше не называть одни увлечения страстными, другие болезненными; мол, меломаны, балетоманы и гурманы — утончённые ценители прекрасного и изящного, тогда как занятие графоманов — *болезненное*. Получается, что графомана чуть ли не лечить следует; по крайней мере, желательно с самого начала отбивать у него охоту к бумагомаранию, или всё время напоминать графоману — подчеркну ещё раз: тому, кого мы *считаем* графоманом! — посвятившему себя литературному труду, что он не настоящий писатель, он так,

писателишка. Вспомним ещё раз утверждение А. П. Чехова: писательский зуд неизлечим, и отучить от бумагомарания нельзя никакими уговорами. И потом: кто лекари? Судьи кто? Читатели и критики — человеки, которым свойственно ошибаться, или, по крайней мере, свойственно иметь разные мнения, зависящие от многих причин и обстоятельств, в том числе от настроения на момент произнесения того или иного суждения.

Разбирая дело о краже в магазине, даже опытные психиатры, следователи и судьи колеблются и сомневаются: является ли задержанный вором или kleptomаном; где черта между непреодолимой тягой и преступным умышленным деянием? Ожегов и Ушаков сходятся в своих объяснениях kleptomании; собственно, в их словарях мы находим одно и то же определение: «Психическое заболевание, выражающееся в склонности к воровству». Я часто обращаюсь к английским словарям, и мне кажется, что в них означенная *мания* толкуется точнее, без медицинского уклона, с применением прилагательного *irresistible* (непреодолимый): это *непреодолимое побуждение* красть чужие вещи, особенно когда кража не приносит тому, кто её совершает, никакой выгоды или пользы; судите сами по моим выпискам из нескольких словарей: *an irresistible impulse to steal; a strong impulse to steal, especially when there is no obvious motivation; a recurrent urge to steal, typically without regard for need or profit*. В английских же современных словарях *graphomania* объясняется как *an obsessive impulse to write*, где прилагательное *obsessive* значит *навязчивый*. Правда, мы видим, что некоторые российские составители англо-русских словарей при переводе означенного слова подвёрстывают к определению *навязчивый* ещё *маниакальный, помешанный...* Есть такая практика: не умея дать как можно более точное определение, наваливаем побольше вроде как синонимичных или схожих по значению слов, и благодарный пользователь пусть выбирает на свой вкус!

Заканчивая главу, предлагаю определение, которое считаю исчерпывающим: люди, о которых шла речь, англomаны, балетоманы, графоманы, гурманы, наркоманы имеют навязчивое пристрастие к чему-либо, которую можно назвать одержимостью, их мысли постоянно поглощены определённой деятельностью, направлены на какого-либо человека или вещь (*continually preoccupied with a particular activity, person, or thing*).

Так что, пожалуй, я снова запишусь в графоманы, ибо, не скрою, имею *навязчивое* пристрастие, *непреодолимую* тягу к писательству. Пристрастие, которое, как в случае с англomанами, балетоманами, kleptomанами и прочими мономанами, не продиктовано жизненной необходимостью и не приносит личной выгоды.

В первых строках предыдущей главы я процитировал Пушкина: *руки снова тянутся к перу, перо к бумаге*, собираясь говорить... О чём? Я забыл. Согласимся, что явление не такое уж редкое: вы, например, начали рассказывать собеседнику или группе лиц о каком-то событии, вы намеревались поделиться с ними последними новостями в своей жизни, но вас кто-то перебил, спеша сообщить что-то своё, вы отвлеклись и переключились на другую тему, на *побочные рассуждения*, и первоначальную мысль потеряли. Подобное может случиться даже тогда, когда вы

проделали основательную предварительную подготовку; скажем, готовясь к докладу, к выступлению на заданную тему, вы читали и просматривали нужные материалы, вы собирали соответствующие сведения, что-то конспектируя, вы мысленно представляли, как построите своё выступление, и проговаривали его. Но, оказавшись перед слушателями, по какой-то причине (например, вдруг растерявшись и смутившись, увидев в публике человека, присутствие коего вам неприятно и нежелательно) вы начали сбиваться, перескакивать, как говорится, с одного на другое, последовательность изложения нарушилась...

Говорящий, случается, впадает в замешательство, путается, неясно или неудачно выражается, слишком долго подбирает нужные слова — которые никогда *не успевают* за мыслями. Может быть, Луначарский, перечитав через какое-то время свою речь, посвящённую Демьяну Бедному, как она была стенографически записана, отредактировал бы её, что-то подправил... Как он там выразился? По-моему, слишком витиевато: «Горький идёт в публицистике по линии величайшей популяризации, а по линии художественности поднимается до очень высоких обобщений...» Думаю, в публике, особенно если она состояла из *пролетариев*, эти перлы красноречия мало кто понял и оценил. Хотя, по общему тону выступления, по ранее прозвучавшим хвалебным отзывам в адрес Горького и Бедного, по прилагательным *величайший* и *высокий* слушатели, скорее всего, сообразили: нарком просвещения указанных авторов хвалит, ценит, и они, Горький с Бедным — *наши*, они за нас!

Я собирался говорить о понимании, ради чего рука и потянулась у перу... Если точно, у Пушкина не *рука*, а *пальцы*:

И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы лёгкие навстречу им бегут,
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге...

Мысли в голове у человека, действительно, часто волнуются. Они, бывает, даже прыгают, мечутся, кипят... Может быть, у Пушкина волнение, действительно, способствовало тому, что *лёгкие рифмы* стремительно приходили на ум, но у обычного человека взволнованное состояние отрицательно сказывается на ясности мысли, на чёткости изложения (вплоть до того, что он начинает заикаться), он и воспринимает неадекватно то, что ему говорят или то, что он читает. Студент сидит на лекции или на занятии, слушает преподавателя, но мысли заняты чем-то другим, например, девушкой, в которую студент влюблён. Часть того, что объясняет преподаватель, пролетает, как говорится, мимо его ушей; встряхнувшись, он сосредотачивается на учёбе и ухватывает слухом конец предложения или заключительную часть речевого периода; он записывает, то, что услышал — обрывок рассуждений, по которому, домысливая, он составит неверное, искажённое представление о том, что объяснялось.

Когда-то, ещё при советской власти, я читал статью Герберта Уэллса «Россия во мгле»; позже я перечитывал некоторые отрывки из статьи... В этот раз, обратившись к означенному произведению, я удивился, что не помню многих сцен и описаний, я словно впервые увидел фамилии Зорина, Бакаева... От прошлых прочтений в памяти закрепился, собственно, отзыв Уэллса о Ленине: *кремлёвский мечтатель* (a dreamer in

the Kremlin) и то, что борода Карла Маркса своим бессмысленным изобилием очень похожа на многословный «Капитал». Почему из памяти ушли, вымылись, улетучились рассуждения и описания, в которые сейчас я вчитался с большим интересом? Скорее всего, при первом прочтении голова была занята чем-то другим, и занята сильно и постоянно; скорее всего, какими-то житейскими трудностями, бытовыми дрызгами, мелочными заморочками... Винить обстоятельства? Конечно, можно сваливать на то, что *среда заела*, что при социализме мозги у тебя плохо работали, потому что даже при чтении книг ты думал о том, где купить колбасы или достать денег на приобретение чего-то нужного по хозяйству. Карла Маркса, кстати, можно подверстать: бытие определяет сознание! То, что экономический и политический уклад сказывается на мышлении, это так — на мышлении отдельных членов общества и на мышлении всего общества, времена меняются, и оно меняется. По-моему, в шестидесятые и семидесятые годы прошлого века оно было, при отдельных всплесках чего-то талантливого и даже гениального, в целом каким-то ущербным... Но всё же винить среду, материальные трудности и политические ограничения в том, что лично ты что-то не смог, не успел, задумал, но не сделал, — неправомерно. В период сильной цензуры писали и добивались своего Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Некрасов, вечные денежные заботы, болезнь и семейные неурядицы не заставили Достоевского опустить руки, Маяковский написал очень много, в том числе очень талантливых строк, в те самые годы после Революции, во время Гражданской войны, при военном коммунизме, когда многим другим не то что сочинять стихи, жить стало просто не вмоготу, когда общественное сознание было не то что ущербным, а просто диким...

Пути собственного мышления, не то что общественного, неисповедимы: вспомним то, о чём мы думали и как мы думали в детстве, сравним с тем, о чём и как мы думаем во взрослом состоянии, в пожилом и преклонном возрасте. Что-то лучше схватывалось, усваивалось и запоминалось в юные годы, понимание чего-то пришло с очень большой задержкой... Я вынес в заголовок высказывание Ф. И. Тютчева (1803-1873) из короткого стихотворения (написанного в 1869 году), но, честно говоря, я до сих не понимаю его в целом. Хотя в нём всего четыре строки! Первая половина сразу запомнилась, давно, наверно, ещё в школе:

Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется...

Прочитанное мне понятно, и, как я уже говорил, с утверждением автора я полностью согласен. Вторую часть я всё время забывал, и при следующем прочтении через несколько лет вчитывался в неё, вроде как начинал понимать...

И нам сочувствие даётся,
Как нам даётся благодать.

О чём говорит Фёдор Иванович? Стараюсь, но что-то не улавливаю его мысль. И общий смысл четверостишия мне не ясен, и я не вижу связи между первыми двумя строчками с третьей и четвёртой — ни грамматической, ни смысловой.

Обратившись к «Полному собранию стихотворений» в двух томах, выпущенных издательством «Academia» в 1933-34 годах, я не нашёл пояснений, которые открыли бы мне глаза... Для литературоведов и редакторов, готовивших издание, видимо, означенное стихотворение представлялось совершенно понятным, не требующим объяснений. Или же, как бывает со всеми нами, редактор пробежал по нему глазами, не вчитываясь в каждое слово, и у него не возникло вопросов: всего-то четыре строчки, при том знакомые, памятные, давно наизусть заученные, здесь же всё ясно написано!

Я обратился за подсказкой к школьным пособиям по литературе; подсказок оказалось удивительно много. Приведу (вперемежку) несколько фраз, выбранных из сочинений, школьникам предлагаемых как образец для списывания... Простите, не для списывания, а для прочтения, вдумчивого осмысления и изложения своими словами! Я прямо-таки зачитался: *четыре строчки, но какой глубокий смысл в них заложен; стихотворение представляет собой некую загадку, в которой каждое слово имеет большое значение, разгадав эту загадку, можно стать посвящённым в ещё одну тайну, закон жизни; здесь идёт речь о важности слов, речи, необходимости помнить о последствиях сказанного; это философское раздумье касается не только автора, и даже не только его читателей, но и каждого человека, живущего в России и вообще на планете Земля; поэт словно говорит от имени множества людей, которые получили в дар от природы настоящее богатство — речь, слово; поэт использует в данном случае метафору одушевления, значит, он считает слово живой материей, способной влиять на людей; магическое действие человеческого слова: оно способно, по мнению Тютчева, влиять как на повседневные события в жизни людей, так и на их судьбы в целом, а также на судьбы целых поколений; люди часто не могут управлять словами, а это приводит к тяжёлым результатам; поэт думал о роли поэзии, её месте в обществе, о том, как и поэтическое слово тоже отзовется в душах людей; он понимал значимость и важность своего творчества; ведь именно по произведениям потомки во многом будут воспринимать ту или иную эпоху; слова имеют огромную силу; нужно бережно и осторожно обращаться с ними...*

И так далее, и далее; схожие объяснения лились и лились... Прочитав только часть этой галиматъи, я ещё раз согласился с Фёдором Ивановичем: нам не дано предугадать, как отзовется наше слово, каким осмыслениям и толкованиям оно подвергнется.

Потом мне встретился анализ обсуждаемого произведения с очень деловитым зачином, и я, вопреки сомнениям, снова стал читать:

«Это философское размышление поэта о роли слова, о жизни, об отношениях людей. Исследователи отмечали, что ключевые понятия в этом стихотворении — *слово, сочувствие* и *благодать*. Стихотворение состоит из единой строфы, одного четверостишия, несущего в себе законченную мысль. Оно представляет собой предложение-период. Условно мы можем выделить в нём две части. Первая часть — это некое утверждение поэтом непредсказуемости человеческих реакций...»

Как видите, здесь утверждается, что четверостишие несёт-таки законченную мысль! Размышлений *о жизни и об отношении людей* я и после объяснений в четверостишии не усмотрел. Хотя мне предложили даже *ключевые понятия*, к пониманию общего смысла я не приблизился.

Читаю дальше: «Причём здесь речь идёт и о человеческом общении в целом, и о роли поэтического слова, об отражении жизни в художественных образах, о восприятии публикой искусства».

Вот как? Оторвавшись от *анализа*, я перечитал ещё раз обсуждаемое четверостишие, но не обнаружил в нём ничего по поводу *отражения жизни* и про *восприятие искусства*.

Я не усматривал связи первых двух строк с третьей и четвёртой, но меня уверили, что связь есть!

«Вторая часть строфы представляет собой следствие, результат первой: И нам сочувствие даётся, Как нам даётся благодать... — Здесь речь идёт о человеческих реакциях, отзовах на наше слово, — о сочувствии, сострадании, доброте. Это приравнено поэтом к *благодати*. Что же подразумевает он под этим понятием? Очевидно, любовь Бога к человеку. По мысли Тютчева, сочувствие и доброе отношение окружающих — это великая благодать для человека...»

В моё время литературоведческий анализ осуществлялся *через призму* марксистско-ленинского учения, и любая ахинея шла в печать, поскольку она была снабжена ссылками на Маркса и Ленина, на их *правильное* учение, приводилась их *справедливая* оценка тех или иных литературных произведений, указывалось их *верное* понимание искусства. Теперь, как я вижу, достаточно бормотать про любовь Бога к человеку, мусолить малопонятное существительное *благодать* и... Даже не верится, неужели *образцовые* шаблоны, мною найденные и здесь слово в слово скопированные, переносятся школьниками в сочинения по литературе? И учителя их читают, принимают за нечто осмысленное, ставят за них оценки, и, если это сочинение экзаменационное, считают, что экзамен сдан?

Хорошо, пусть учителя дальше учат, пусть школьники дальше пишут, переписывают и списывают... То есть я не вижу в этом ничего хорошего, и считаю: детей можно бы избавить от литературных тем, которые не каждому дипломированному литературоведу или культурологу по уму, избавить от рассуждений и *анализов*, которые приучают детей к тупому зазубриванию и воспроизведению отдельных слов и целых словесных построений без их осмысления, как это происходит у попугаев. Но, если это одобрено министерством просвещения, ничего не попишешь, вернее, ничего не поделаешь; пусть дети дальше *сочиняют*, не вникая в смысл, ведь главное, чтобы все поголовно, даже совсем ничего не усвоившие на уроках литературы (ни на уроках по другим дисциплинам), сдали экзамены и получили, так и тянет использовать некультурное слово *заимели*, чтобы все поголовно *заимели* аттестат о среднем образовании — как требуется по закону в наше время, называемое просвещённым, во всех странах, называемых цивилизованными.

Оставив в покое *народное просвещение*, я обратился к печатной продукции. Вот, например, «Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений», выпущенный в Москве издательством «Локид-Пресс», и в нём означенные *крылатые слова* Тютчева объясняются как «призыв быть осторожным со словом, поскольку оно может и оживить, и глубоко ранить, *убить* человека».

Прочитав оное объяснение от *энциклопедистов* из указанного издательства, я в какой-то мере успокоился. Значит, не один я такой тупой, не только мне непонятны строки поэта Тютчева о сочувствии и благодати.

11

Думаю, что четверостишие Тютчева — набросок, оставшийся без доработки. Двадцать седьмого февраля 1869 года поэту пришли в голову и удачно срифмовались две строки, ясно выразившие его мысль о том, что отклик на наши слова непредсказуем. Тютчев и раньше задумывался об этом, мы читали схожие рассуждения в его стихотворении «Silentium», написанном сорока годами ранее:

Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймёт ли он, чем ты живёшь?

В феврале 1869 года к двум первым строкам, как я полагаю, поэт, думая над продолжением, набросал следующее — подобрав рифмы, но не связав логически первую часть со второй:

И нам сочувствие даётся,
Как нам даётся благодать.

Четверостишие не печаталось при жизни Ф. И. Тютчева, и это, на мой взгляд, свидетельствует о его незавершённости. Автограф был найден в рукописях княгини В. Ф. Шаховской (1805-90) её внучкой, Е. И. Свечиной. Свечина передала его в альманах «Северные цветы», где стихотворение было опубликовано в 1903 году. Что и позволяет мне если не утверждать, то предполагать: Фёдор Иванович собирался вернуться к наброску, доработать его, развить, быть может, до большого стихотворения, но этого не произошло. Возможно, первоначально в голове *мелькнула* мысль провести сравнение и противопоставление: мы наделены сочувствием, Бог оделяет нас своими милостями: *благодать* предполагает дары по Божьей доброте, не по нашим заслугам; мы получаем первое и второе, но предсказать судьбу своих слов мы не можем, *нам не дано предугадать, как наше слово отзовётся*.

Это, повторяю, моё предположение.

12

Поэта Тютчева волновало, что чувства и переживания трудно, даже невозможно выразить словами, ибо *мысль изречённая есть ложь*, и, высказавшись, ты не обязательно найдёшь у других понимание, сочувствие и сопереживание. Будучи не поэтом, а филологом и буквоедом, я продолжаю рассуждать на приземлённом уровне, на уровне, скажем так, *справщика* и читателя, обращая внимание на текстовые

неточности, искажения и переделки слов и фраз, намеренные и ненамеренные. Среди других часто цитируемых произведений Тютчева мы находим и следующие строки:

Кто смеет молвить: до свиданья,
Чрез бездну двух или трёх дней?

Здесь после *до свиданья* каким-то издателем, редактором или корректором была вставлена запятая, и тем самым в предложение внесена грамматическая ошибка. Поэт пишет о свидании, которое должно состояться через два-три дня. Нет уверенности, что оно, свидание, состоится. В силу превратных жизненных обстоятельств или стихийных бедствий через срок, названный Тютчевым *бездной*, два человека могут и не *свидеться* снова. *До свидания* — существительное с предлогом.

В том виде, в каком я скопировал и воспроизвёл двустишие, оно, по большому счёту, не имеет смысла. Мы как будто прощаемся (используя междометие): до свиданья! — с кем-то, удалённым от нас *бездной* двух-трёх дней... Честно говоря, я даже не сумею разъяснить *новый смысл*, появившийся после внедрения в стихотворный текст всего лишь одной запятой.

Тютчев умер, он не может заново вычитать свои произведения и исправить ошибки для *исправленного* издания силами добросовестного и *серьёзного* издательства. Ему не выступить с опровержениями, ему не потребовать извинений от тех, кто *калечит* его слово, ему не обратиться за объяснениями к тем, кто превратно или легковесно *объясняет* его произведения и засоряет чужие головы словесной мишурой: *метафора одушевления, магическое действие, роль и место поэзии в обществе...* Хотя, ознакомившись с жизненной позицией, изложенной самим поэтом в стихах, можно предположить, что он не счёл бы нужным кого-то оспаривать, что-то опровергать, с кем-то препираться и чего-то от кого-либо добиваться.

Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои —
Пусть в душевной глубине
Встают и заходят оне
Безмолвно, как звезды в ночи...

Желая осадить тех, кто *калечит твоё слово*, человек станет требовать опровержений, при этом не устных, а в печати, настаивать на извинениях или даже денежном возмещении за моральный ущерб... Как бы человеку не *нарваться* на скандал, на насмешки, издёвки, оскорбления. Опровержение или извинение, может быть, и напечатают (с иронией или какой-нибудь не сразу заметной подковыркой), деньги, может быть, заплатят, но ты останешься, как оплётанный, — до нашего слуха время от времени долетают истории, как некий автор или исполнитель взялся защищать в суде свои *честь и достоинство*, и как определённая часть публики над истцом потешалась и как грязью его поливала.

Тютчев давал сам себе совет не *мутить воду*, жить своей внутренней жизнью:

Взрывая, возмутишь ключи, —
Питайся ими — и молчи.
Лишь жить в себе самом умей —
Есть целый мир в душе твоей
Таинственно-волшебных дум;
Их оглушит наружный шум,
Дневные разгонят лучи, —
Внимай их пенью — и молчи!..

После скандала, особенно если он касается известного человека, когда *дрязги* широко освещаются и обсуждаются, опровержение, напечатанное в газете, не избавит оскорблённого истца от неприятного осадка и не устранил противоречивые толки в обществе: то ли его оскорбили, то ли он кого-то оскорбил, по народной пословице: *хорошее смолчится, а худое разгласится*. Пояснения толкового литературоведа, приложенные к произведению в одном из немногих изданий, научная статья какого-либо дотошного исследователя, не обязательно столичного, с вдумчивым анализом и с опорой не на перепечатки, а на рукописные автографы, хранящиеся в архивах, куда не каждый имеет желание ходить, ездить и в документах *копаться*, — подобные публикации не попадают в поле зрения широкого читателя; широкому кругу читателей, как это было всегда и как продолжается теперь, скармливаются без лишних усилий тексты из каких угодно прежних изданий с повторением предыдущих искажений (и подчас с добавлением новых).

Взяв в библиотеке «Сравнительные жизнеописания» Плутарха, изданные в наши дни крупнейшим российским издательством, я, читая, обнаружил персонаж по имени *Красе*, он упоминался то в одном месте, то в другом... Может быть, имеется в виду Красс? В чём дело? Дело в том, что редакция не сочла нужным набирать заново текст для типографии. В издательстве сосканировали одно из предыдущих изданий; как известно, компьютер зачастую *распознаёт* неверно буквы, схожие по написанию, он иногда заменяет точки (и пятнышки грязи) на запятые или иные знаки препинания. Возникла форма *Красе* вместо *Красс*, она пошла в печать, не замеченная и не исправленная корректором (если корректор вообще брал в руки вёрстку); сей *Красе* красовался, простите за каламбур, в классическом произведении, где, в отличие от бульварных газетёнок и незамысловатых романчиков, желательно видеть по крайней мере верное написание имён.

Технические, скажем так, недоработки приводят к самым неожиданным метаморфозам, вплоть до превращения мухи в слона и слона в муху... Я имел несчастье столкнуться с ослами. Нет, я не обзываюсь в адрес тех или иных своих издателей, я собираюсь привести два-три примера из своей переводческой практики. В начале 1990-х годов я по договорённости с одним петербургским издательством (давно канувшим в Лету наряду с тысячами других *предприятий*, выросших как грибы или, если хотите, как бурьян на русской почве, истощённой советским социализмом) подрядился перевести на русский язык фантастический роман американского автора Ф. Ж. Фармера «Riders of the Purple Wage». Мне не удалось найти удачное русское соответствие для названия, в котором обыгрывалась схожесть по написанию существительных *wage* и

sage (с намёком на вестерн Зейна Грея «Riders of the Purple Sage», напечатанный в 1912 году); в произведении оказалось много подобной *словесной игры*, и не мне судить, как я с ней справился, хорошо или плохо; речь сейчас не о проблемах перевода, а о том, как авторское или переводческое слово *отзывается* в печати и в каком виде попадает к читателям.

Переводил я с ручкой в руке, писал на бумаге. Я напечатал текст на пишущей машинке и передал в редакцию. Кто-то, как я понимаю, набирал его потом на компьютере; вычитывать набор меня не приглашали: в издательстве торопились запустить ряд фантастических произведений в продажу... Через несколько лет, перелистывая сборник «Путешествие к Арктуру», я стал перечитывать свой перевод под названием «Пассажиры с пурпурной карточкой»; взгляд зацепился за следующую фразу: «История — *pons asinorum*, ослиный мозг из евклидовой геометрии, где люди в качестве ослов на мосту времени». Я обомлел: что такое, почему ослиный *мозг*, должно быть ослиный *мост*. У меня сохранилась рукопись перевода. Я проверил: конечно, я написал и потом напечатал на машинке *мост*. В выходных данных сборника сообщается, что у издания был редактор, наборщик и корректор, но тот внимательный читатель, которого озадачит *ослиный мозг*, выскажется неодобрительно, скорее всего, в адрес переводчика.

В другом романе, «Пираты-призраки», мне, переводчику, тоже повезло с *ослом*. Я неожиданно обнаружил свой перевод, ранее изданный, в сборнике «Призраки океана», и, удивившись, прямо в магазине перелистал книгу. Я ещё больше удивился, когда, в общем-то, случайно, наткнулся на следующее замечательное высказывание главного героя, рассказчика: «Мной внезапно овладело странное ощущение, что происходит нечто неладное. Но через минуту я уже обозвал себя орлом»... Орлом не обзывают, а называют (смелого человека)! В чём дело? В романе Вильяма Ходжсона, в моём переводе и в первом его издании герой обозвал себя *ослом*...

Не перечисляя многие другие опечатки, я привёл два *наглядных* примера с прежней целью: показать, как слово на пути от говорящего к слушающему, от пишущего к читающему может подвергнуться самым неожиданным превращениям.

Что делать, когда твоё слово *искалечено*, переделано, неверно понято, не так истолковано?

Есть английское речение, в котором нам советуют не задавать вопросов, чтобы не услышать ложь: «Ask no questions and hear no lies». Есть опасность, что вы столкнётесь с ложью не только после заданных вопросов; ложь может быть откликом на ваши утвердительные и отрицательные фразы, построенные в любом из трёх наклонений. Так что лучше, как советовал Тютчев, хранить молчание.

Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои...

Если же вас *непреодолимо* тянет высказываться и писать (особенно для обнажения перед публикой и для изливаний своей души), тогда не худо помнить: слово не воробей, вылетит — не поймаешь; скажешь слово, а прибавят десять; ложных слухов не оберёшься... Тогда будьте готовы к тому, что ваше слово исказится по чьей-

то невнимательности или небрежности, его намеренно искалечит какой-либо негодяй или плут, как выразился английский поэт Киплинг; при этом он — созвучно с русским поэтом Тютчевым — считал, что не следует поднимать шум, когда ваши слова будут извращены:

Останься тих, когда твоё же слово
Калечит плут, чтоб уловлять глупцов,
Когда вся жизнь разрушена, и снова
Ты должен всё воссоздавать с основ.

В английском подлиннике несколько иначе: поэт призывает не к тому, чтобы хранить молчание (смиренно, гордо, но, вполне возможно, кипя и сдерживая чувства), он использует глагол *bear*, который здесь значит *терпеть, выносить, выдерживать*. Или: *мириться*.

If you can bear to hear the truth you've spoken
Twisted by knaves to make a trap for fools...

Не будем сейчас обсуждать всё стихотворение, построенное на многократном повторении союза *if*, и, не стараясь передать *в точности* воспроизведённую английскую фразу с помощью *если*, сформулируем эту *заповедь* Киплинга, применительно к нашей теме, в повелительном наклонении: терпи, услышав, как правду, тобой сказанную, выворачивает негодяй, чтобы устроить ловушку для глупцов; умей вынести, умей с этим мириться.

Литература

- Ленин В. И. Полное собрание сочинений в 55 томах. Тт. 35, 50. М., 1958.
Луначарский А. В. Собрание сочинений в 8 томах. Т. 2. М., 1964.
Маяковский В. В. Сочинения в двух томах. М., 1988.
Новый словотолкователь, расположенный по алфавиту. Т. 2. СПб., 1804.
Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1968.
Терне А. М. В царстве Ленина. Берлин, 1922.
Уэллс Герберт. Собрание сочинений в 15 томах. Т. 15. М., 1964.
Rudyard Kipling. Poems. Short Stories. Moscow, 1983.
H. G. Wells. Russia in the Shadows. London, 1920.

References

- Lenin, VI. *Polnoe sobranie sochinenii v 55 tomah* [Complete set of works in 55 vol.]. Moscow: 1955.
- Lunacharsky, An. *Sobranie sochinenii v 55 tomah* [Set of works in 8 vol.]. Moscow: 1964.
- Mayakovskii, VI. *Sochineniya v 2 tomah* [Works in 2 vol.]. Moscow: 1988.
- Novyi slovotolkovatel', raspolojennyi po alfavitu. T. 2.* [New interpreter of words in alphabetical order. Vol. 2]. Saint-Petersburg: 1804.
- Ozhegov, S. *Slovar' russkogo yazyka* [Dictionary of the Russian Language]. Moscow, 1968. 900 pp.
- Terne, A. *V carstve Lenina* [In the Kingdom of Lenin]. Berlin: 1922. 416 pp.
- Wells, H. *Sobranie sochinenii v 15 tomah. T. 15* [Set of works in 15 vol. Vol. 15]. Moscow: 1964.
- Kipling, R. *Poems. Short Stories.* Moscow, 1983.
- H. G. Wells. Russia in the Shadows.* London, 1920.
-

How Will Our Word Resound?

Vasiliev K.B., “Avalon” Publishers

Abstract: The author of the essay, a linguist, argues that a certain part of human statements, spoken, written or printed, reaches the listeners and readers in an inaccurate form, sometimes being distorted, changed or edited arbitrarily by publishing editors using abridgments or insertions. The changes include intentional distortions due to various reasons such as political attitudes. Even some proverbs and popular quotations can be queried as to their correct spelling and meaning. Textual changes, errors and misprints are discussed with some explanations provided.

Keywords: text linguistics, Fyodor Tyutchev, Vladimir Mayakovskiy, graphomania, Marxism-Leninism, cognitive errors, editing, misprints, quoting, translation problems, H G Wells